

INSPIRIA

ЧЕТЫРЕ
СОКРОВИЩА
НЕБА

ДЖЕННИ
ТИНХУЭЙ ЧЖАН

18+

INSPIRIA

Дженни Тинхуэй Чжан

Четыре сокровища неба

Серия «Loft. Реальная жизнь»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70297546

Четыре сокровища неба:

ISBN 978-5-04-199010-7

Аннотация

Лучшая книга апреля 2022 года по версии Amazon, выбор редакции New York Times Book Review, финалист национальной премии Chautauqua, лонглист Carnegie Medal, номинант A Goodreads Choice Award.

Динамичный, отточенный роман, раскрывающий непростой период американской истории начала конца XIX – начала XX века, связанный с обстоятельствами Акта об исключении китайцев.

Дайюй потеряла все: родители исчезли, а ее похитили и увезли из Китая в Америку, в страну, охваченную антикитайскими настроениями, полную жестокости и отчаяния. За ней следует шлейф трагической судьбы легендарной героини, в честь которой ее назвали. Но кто такая сама Дайюй и что у нее есть, кроме иероглифов имени?.. От школы каллиграфии до борделя в Сан-Франциско и гор Айдахо, каждый следующий шаг стал испытанием, каждый человек – потенциальной угрозой. Отныне

Дайюй вынуждена притворяться другими людьми и изобретать себя заново, чтобы выжить и наконец найти настоящую себя.

Содержание

Часть I	6
1	6
2	13
3	29
4	36
5	41
6	50
7	59
8	63
9	69
10	76
11	80
Часть II	89
1	89
2	100
Конец ознакомительного фрагмента.	114

Дженни Тинхуэй Чжан Четыре сокровища неба

Моим родителям

Jenny Tinghui Zhang

FOUR TREASURES OF THE SKY

Copyright © 2022 by Jenny Tinghui Zhang.

All rights reserved.

© Новикова К., перевод на русский язык, 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Часть I

Чжифу, Китай

1882

1

Когда меня похищают, это происходит не в каком-то переулке. Это происходит не посреди ночи. Это происходит не в тот момент, когда я оказываюсь одна.

Когда меня похищают, мне тринадцать лет, я стою посреди рыбного рынка Чжифу в районе набережной и наблюдаю, как дородная женщина сгребает в кучу рыбешек-сигов, похожих на маленькие лопатки. Женщина приседает на корточки, спрятав колени под мышками, и перекладывает рыбину так, чтобы наверху оказались самые лучшие. Вокруг нас дюжина торговцев рыбой делает то же самое, их товар висит в сетях, и они извиваются. Под сетями стоят ведра для воды, стекающей с рыбьих тушек. Земля блестит от воды, люющей с еще живых рыб. Когда они вертятся в воздухе, то сверкают, как серебряные петарды.

Здесь повсюду пахнет сыростью.

Кто-то кричит: «Красный луциан! Свежий! Прямо из Чжилийского залива». Другой голос, громче, ярче, перекри-

кивает: «Настоящий акулий плавник! Для повышения потенции, улучшения кожи, придаст энергию вашему маленькому императору!»

Эти слова – поэзия для всех домашних слуг, которые пришли на рыбный рынок за покупками для своих хозяев. Их тела быются и трутся друг об друга, стремясь на голос, что кричит про акулий плавник, в надежде на награду, повышение в должности, благосклонность. Все это зависит от качества акульего плавника.

Пока остальные шумят, я все смотрю на женщину с рыбой, которая продолжает перекладывать свою кучу. Ее товар не висит в сетях, как у других, он разложен на брезенте. При перекладывании некоторые рыбины соскальзывают с вершины кучи на край брезента – там они уязвимы и оставлены без присмотра.

Голод давит на стенки моего желудка. Было бы так легко схватить одну рыбку. За то время, пока я подберусь, схвачу самую дальнюю от женщины тушку и убегу, она едва ли успеет подняться на ноги. Я ошупываю серебряные монетки в карманах штанов, а потом позволяю им упасть обратно за подкладку. Эти деньги нужно беречь, а не тратить на какую-то снулую рыбу. Я просто стащу одну или две – ничего такого, что она не смогла бы наверстать на следующий день. Океан изобилен.

Но к тому времени, как я решаюсь, торговка рыбой меня замечает. Она сразу понимает, кто я, видит ненасытность

внутри моего ноющего желудка – настойчивость, которая опустошит все, к чему прикоснется. Мое тело предает меня: оно худенькое, как тростинка. Она узнаёт то, что видит во всех беспризорных мальчишках, осмеливающихся проскользнуть на рыбный рынок, и, прежде чем я успеваю ответить взгляд, оказывается передо мной, тяжело дыша.

– Чего надо?

Ее глаза прищурены. Она размахивается, ее ладони размером со сковородку. Я уклоняюсь от одного, потом от двух ударов.

– Пошел, пошел! – кричит она. Позади нее в своей куче ждут блестящие сиги. Еще есть время, чтобы схватить несколько штук и убежать. Но остальной рынок уже обратил на нас внимание.

– Я вчера видел здесь этого пройдоху, – кричит кто-то. – Хватай его, и мы зададим ему хорошую порку!

Торговцы рыбой поблизости режут в знак согласия. Они выныривают из-за своего товара и образуют баррикаду вокруг меня и женщины. Не стоило тут задерживаться, думаю я, когда их плечи смыкаются. Мне придется долго объясняться с наставником Ваном, если я когда-нибудь вернусь домой. Если мне вообще разрешат остаться дома.

– Ловите его, – радостно кричит кто-то еще. Женщина делает выпад вперед, раскинув руки. Ее десны цвета гнили. Позади нее лица торговцев рыбой наполняются предвкушением. Я закрываю глаза и готовлюсь.

Но того, чего я ожидаю, не происходит. Вместо этого на мое плечо опускается что-то тяжелое, теплое и уверенное. Я открываю глаза. Женщина замерла, раскинув руки. Торговцы рыбой делают дружный вдох.

– Где же ты был? – говорит голос. Он льется сверху, он как мед. – Я тебя повсюду ищу.

Я поднимаю голову. Мне улыбается худой мужчина с большим лбом и заостренным подбородком. Он молод, но двигается так, словно несет в себе вес кого-то старше. Мне доводилось слышать рассказы о бессмертных, спускающихся с небес, о драконах, что превращаются в хранителей, которые принимают вид людей. О тех, кто защищает таких, как я. Мужчина подмигивает мне.

– Вы знаете этого негодяя? – выпаливает торговка рыбой. Теперь ее руки свисают вдоль тела, красные и покрытые пятнами.

– Негодяя? – смеется мужчина. – Он не негодяй. Он мой племянник.

Торговцы рыбой вокруг нас ворчат и начинают расходиться, возвращаясь к оставленной без присмотра рыбе. Сегодня развлечения не будет. «Красный луциан, красный луциан», – снова предлагает первый голос.

Но торговка не верит мужчине. Я это вижу. Она смотрит на него, потом на меня, пытается заставить меня отвести взгляд. Нечто в ладони на моем плече, в ее спокойном тепле говорит мне, что, если я отведу взгляд, мы не сможем

покинуть это место. Я продолжаю смотреть на женщину, не мигая.

– Если у вас проблемы, – продолжает мужчина, – можете поговорить с моим отцом, господином Эном.

И тут, будто мужчина произнес какое-то заклинание, торговка рыбой первой отводит взгляд. Я моргаю один, два, три раза, внутренняя сторона век саднит.

– Прошу прощения, брат Эн, – говорит она, кланяясь. – Здесь темно, а от рыбы у меня мутится в голове. Я пошлю наставнику Эну свою лучшую рыбу, чтобы исправить эту ужасную ошибку.

Мы уходим с рынка вместе, я и этот высокий подмигивающий незнакомец. Он держит руку на моем плече, пока мы оба не оказываемся на улице. Стоит полдень, и солнечный свет окрашивает все в оттенки зеленого и золотого. Мимо нас проходит торговец со свиньей на поводке, у нее покачиваются соски. Мы находимся в той части набережной в Чжифу, где живут иностранцы. Над черепичными крышами и британским консульством к далеким холмам тянутся зеленые поля. За спиной слышен хлопковый рокот пляжа, морской бриз окутывает нас своим длинным выдохом. Воздух здесь насыщен солью. Все вокруг впитывается в меня, а я впитываюсь в него.

Я прихожу сюда, потому что тут всегда есть чем поживиться. В местах, где ходят иностранцы, я нахожу серебро, вышитые платки, упавшие перчатки. Все эти легкомыслен-

ные вещи, которыми жители Запада украшают свои тела. Сегодняшний день принес мне две серебряные монетки. Они звенят в моем кармане рядом с четырьмя монетами от наставника Вана. Можно сказать, что сегодня у меня в руках настоящее богатство.

Я осматриваю странного подмигивающего человека при дневном свете. Кажется, он богат, но одет не так, как другие виденные мной богачи. Вместо шелкового халата, *чанишаня*, он носит белую рубашку с блестящей тряпицей, свисающей с шеи. Его тяжелый черный кафтан распахнут, а не застегнут до самой шеи, и штаны на нем узкие. Страннее всего его волосы: они не заплетены в косу, а коротко острижены.

– Что думаешь, племянничек? – говорит мой спаситель, все еще улыбаясь.

– Я девочка, – выпаливаю я. Не могу сдержаться.

Он смеется. Солнечный свет отражается в двух желтых зубах. Я думаю про сказки, где у людей желтые зубы, которые выросли из кусочков золота.

– Я это знал, – говорит он, – но в данном случае нам обоим пошло на пользу, что ты прикинулась мальчиком. – Он осматривает меня, его глаза полны решимости. – Голодная? Ты тут одна? Где твоя семья?

Я отвечаю ему, что да, я голодна. Мне очень хочется, чтобы он проявил ко мне свою милость. А еще я тоже хочу кое-что спросить у него, например:

– Кто вы такой? Откуда вы взялись? Кто такой наставник

Эн и почему торговка рыбой так резко отстала, когда вы назвали его имя?

– Позволь мне рассказать тебе обо всем, – говорит он, снова кладя ладонь мне на плечо. Он предлагает мне поесть лапши – дальше по улице есть хорошее место.

Что-то подсказывает мне, что к этому приглашению нельзя относиться легкомысленно. Я киваю и застенчиво улыбаюсь. Этого ответа достаточно. Он уводит меня от рыбного рынка, и мы вместе идем по улице, минуя почту, три иностранных консульства и церковь. Прохожие бросают на нас взгляды, прежде чем вернуться к своим делам, на мгновение пораженные странной парочкой отца и сына: один одет как персонаж из театра, а другой бледный и пугливый. За нашими спинами пенится океан.

У каждой лапшичной, которую мы проходим, я спрашиваю своего спасителя: «Это она?» У каждой лапшичной, мимо которой мы проходим, он отвечает: «Нет, маленький племянник, еще не совсем». Мы продолжаем идти, пока я не перестая узнавать, где мы находимся, и когда останавливаемся, я осознаю, что мы никогда не окажемся в лапшичной.

Шел первый день весны.

2

Это история о волшебном камне. Это история, которую мне рассказала бабушка. А еще эта история о том, как я получила свое имя.

В этой истории богиня Ньюва пытается восстановить небеса. Она плавит скалу и формирует из нее 36 501 камень, но использует только 36 500 из них, оставив один без дела.

Этот камень может двигаться, как ему заблагорассудится. Он может вырасти до размеров храма или уменьшиться до чесночной луковицы. В конце концов, его ведь создала богиня. Но он, оставленный без применения, проводит день за днем, считая себя недостойным и стыдясь своей бесполезности.

Однажды камень встречает двух монахов: даоса и буддиста. Они настолько впечатлены его магическими свойствами, что решают взять его с собой в путешествие. Так камень попадает в мир смертных.

Долгое время спустя рождается мальчик с волшебной яшмой во рту. Говорят, что этот мальчик – реинкарнация камня.

А что потом? Мальчик влюбляется в свою младшую кузину Линь Дайюй, болезненную девушку, у которой умерла мать. Но семья мальчика не одобряет их любовь, настаивая

на том, чтобы он женился на более богатой и здоровой кузине по имени Сюэ Баочай. В день свадьбы семья прячет лицо Сюэ Баочай под слоями тяжелой вуали. Они лгут мальчику, который считает, что это Линь Дайюй.

Когда Линь Дайюй узнает об этом плане, болезнь заставляет ее слечь, она кашляет кровью. Она умирает. Мальчик женится, ни о чем не подозревая, он считает, что они с невестой будут счастливы и неразлучны. Когда он узнает правду, то сходит с ума.

Почти сто лет спустя под тутовым деревом в маленькой рыбацкой деревушке молодая женщина заканчивает читать эту историю, известную под названием «*Сон в красном тереме*», и кладет руку на живот, думая: «Дайюй».

По крайней мере, такова история, которую мне рассказывали.

Я всегда ненавидела свое имя. Линь Дайюй была слабой. Я не буду похожа на нее, обещала я себе. Я не хотела быть меланхоличной, или ревнивой, или озлобленной. И я никогда не позволю себе умереть от разбитого сердца.

– Меня назвали во славу трагедии, – жаловалась я бабушке.

– Нет, дорогая Дайюй, тебя назвали во славу поэта.

Мои родители родились в Чжифу, у океана. Мне нравится представлять, что они встретились так: приливы мягко подталкивали их друг к другу до тех пор, пока они не столкнулись лицом к лицу. По велению воды. Поженившись, они от-

крыли магазин гобеленов ¹ и вместе им управляли: моя мать ткала, а отец продавал гобелены женам государственных чиновников и других богатых торговцев. Моя мать следила за тем, чтобы каждый рисунок, будь то феникс, журавль или хризантема, выглядел так, будто вот-вот спрыгнет с ткани. Феникс взмывал вверх, журавль изгибался, хризантемы цвели. Гобелены ее работы были живыми. Неудивительно, что их магазин стал самым популярным во всем Чжифу.

Потом, по причинам, о которых мне не рассказывали, а я не догадалась расспросить, мои родители переехали в маленькую рыбацкую деревушку недалеко от города. Моя мать не хотела переезжать, я это знала. Чжифу наполнялся иностранцами, превращаясь из приморского городка в оживленный порт, и она хотела, чтобы ребенок, спящий у нее в животе, посещал западные школы, которые стали открываться по всему городу. Беременная, с опухшими руками, не в силах больше ткать шелк на ткацком станке, она ждала, когда я появлюсь на свет. Грузчики погрузили ее ткацкий станок и нитки в повозку, и она обернулась, чтобы посмотреть на свой любимый магазин в последний раз.

Стоял конец лета, когда мои отец, мать и бабушка прибыли в маленькую рыбацкую деревушку в шести днях пути от Чжифу. В мамином животе я превратилась из боба в малень-

¹ Имеется в виду узорчатый шелк либо картины на шелке, распространенные в китайском искусстве, но для удобства восприятия было принято решение использовать европейское изобретение – гобелены (*здесь и далее примеч. пер.*).

кий кулачок. Осенью я, деревенский ребенок, появилась на свет. Мама рассказывала, что, когда я наконец выскользнула из нее, она представила, что пьет соленую воду, что жидкость стекает по ее телу и скапливается у меня во рту, чтобы я всегда знала, как найти дорогу к морю.

Должно быть, это сработало. Наша деревня лежала у реки, которая питала океан, и в те ранние годы я часто гуляла вдоль берега, следуя за чернохвостыми чайками, пока не добиралась до океана. Я прижималась к кромке воды, перебирая богатства, которые она в себе таила: жизнь, память, даже погибель. Моя мать говорила про море с любовью, отец – с благоговением, бабушка – с осторожностью. Я не чувствовала ничего подобного. Среди чаек, стрижей и крачек я чувствовала лишь себя саму – и у меня ничего не было, я ничего в себе не несла, я ничего не могла дать. Я только-только начиналась.

Мы жили в домике с тремя пролетами, его окна выходили на север. Мы не были богаты, но и бедны не были. Мой отец продолжал заниматься гобеленами, несмотря на то, что теперь жил в деревне, где ни у кого не хватило бы денег, чтобы позволить себе мамины вышивки. Но дело, казалось, шло лучше, чем когда-либо. Наш дом стали часто посещать чиновники на пути в Чжифу и обратно по государственным делам – иногда ради отдыха от дороги, а иногда ради покупки подарков женам и наложницам на родине. Один взгляд на мамины розовые пионы, серебряных фазанов или золо-

тых драконов, предназначенных лишь для высоких чиновников, – и они были очарованы. Я до сих пор помню самых частых гостей: дородного мужчину со множеством подбородков, большого начальника, у которого одна нога была короче другой, дядюшку, который всегда хотел показать мне свой меч.

Бывали и другие мужчины, а иногда и женщины, которые приходили к нам домой и разговаривали с моими родителями приглушенными голосами. Эти посетители были одеты не в официальную придворную одежду, а в простые черные рубахи и штаны и больше походили на братьев и сестер из храма, чем на официальных лиц. Они часто уходили с гобеленами, и я задумывалась, не раздадут ли их мои родители как пожертвования на благотворительность. Один гость всегда приносил мне сладости и конфеты. Его визитов я ждала больше всего и была в восторге, когда однажды утром застала его в нашей столовой за кашей и маринованной редькой.

– Путь до моего дома долог, малышка, – сказал он, заметив удивление на моем лице. – А твои родители очень щедры.

– Не надо с ней говорить, – рявкнула бабушка из кухни.

Он извинился, но, пока бабушка не видела, тайком передал мне через стол конфету.

Возможно, именно из-за этой встречи бабушка начала брать меня в свой сад, когда у нас бывали гости. В Чжифу не хватало места для всех овощей и трав, которые она хотела

выращивать, но здесь у нее было полно земли. На пустыре за нашим домом она взрыхлила почву и плотно засеяла ее семенами. К тому времени, когда я доросла до высоты подоконника, то уже всю ела ее зеленый перец и измельченную мяту, хотя тогда еще не знала, как они называются.

В этом саду я научилась заботиться обо всем живом. Меня смущало: как что-то может называться живым, и при этом так медленно проявлять свою способность к жизни. Я хотела, чтобы все происходило мгновенно: чтобы бутон за день превращался в спелый плод. Но через садоводство бабушка хотела научить меня многим вещам, не связанным с садоводством, и одной из таких вещей было терпение. Мы выращивали мохнатый женьшень, репу, похожую на белые тапочки, и огурцы с морщинистой кожурой. Мы сажали зеленый перец на солнце и сушили стручковую зеленую фасоль на деревянных палках – ее длинные пальцеобразные плоды безвольно тянулись к земле. Помидоры были капризны и требовательны, поэтому мы постоянно ухаживали за ними, лаская желто-зеленую кожуру, которая наполнялась таинственной энергией.

Травы казались мне более интересными из-за их целебного применения: у нас были кусты *махуан*² с жесткими ветвями и семенами, которые выглядели, как маленькие красные фонарики, и *хуанлянь*³, который мы использовали как кра-

² Китайский хвойник.

³ Китайский коптис.

ситель и для улучшения пищеварения.

Мы выращивали *чайху*⁴, забавное растение со стеблем, идущим сквозь лист, как хвост воздушного змея, для предотвращения болезней печени. Самыми переменчивыми были *хуанци*⁵ – растения с мохнатыми стеблями и маленькими желтыми цветками. Моей бабушке было труднее всего их выращивать, потому что *хуанци* не любил нашу влажную почву, и семена приходилось растирать на пемзе и замачивать на ночь. *Хуанци* всегда пользовался популярностью у торговцев и соседей, которые закупались у моей бабушки. Его сушеный корень растирали в порошок, принимали с женьшенем для укрепления организма. Трава бесконечности – так его называли.

«Ты выучишься и станешь настоящей мастерицей», – говорила мне мама. Она была невысокой и стройной, с кожей цвета молока, за исключением рук, покрытых небольшими красными отметинами. Когда я была совсем маленькой, она позволяла мне сидеть у нее на коленях и смотреть, как она ткала шелк, проходясь по нему челноком, словно по лошадиной гриве. Когда мне исполнилось десять, я наконец стала достаточно взрослой, чтобы помогать ей с более важными делами: например, варить шелк, чтобы он стал мягким.

Это мама научила меня хорошо работать руками. Мама показывала мне, как нарезать картофель лентами и как скла-

⁴ Володушка серповидная.

⁵ Астрагал перепончатый.

дывать бумагу, чтобы сделать веер. Работа в саду оставляла мозоли на ладонях, а мама шлифовала их пемзой, чтобы они снова были готовы к деликатной работе. Как бы грубы ни были руки, истинная мягкость кроется в доброте сердца, говорила она.

Пока мама учила меня работать руками, отец учил работать головой, удивляя в неожиданные моменты каверзными и занимательными вопросами. «Чем отличается ребенок от взрослого?» – спросил он на мой одиннадцатый день рождения. Однажды, когда я не доела свой обед, он спросил, не глядя на меня: «Сколько зернышек риса нужно, чтобы накормить деревню досыта?» В другой раз, когда я пробежала по траве босиком и вернулась в слезах с занозой в левой пятке, он спросил: «Когда отцу бывает больше всего?» Он следил за мной любопытными, знающими глазами, словно видел во мне маленький корешок, готовый вырваться на поверхность и расцвести.

Это мои самые любимые воспоминания о времени, проведенном дома: все заботились и любили меня, и каждый знак этой любви передавался через то, чему меня учили. Деревня могла исчезнуть, а наш дом мог разрушиться, но, пока у меня были мама, папа и бабушка, я знала, что способна на все – мы были вчетвером, умелые, сильные и связанные любовью.

В спокойные моменты мама звала меня к себе на колени и вплетала ленты мне в волосы. Сперва прически были простые: всего один-два узла и косички – но по мере того как я

росла, она добавляла в них золото, бусы, кисточки, цветы. Я стала думать о своей голове, как об отражении любви моей матери. Чем сложнее получалась прическа, тем безграничнее была ее любовь.

«Если бы мы жили в Чжифу, – говорила она, поправляя ленту на моем венце, – твои многочисленные таланты привлекли бы столько женихов, что ты не знала бы, что с ними делать». Она всегда так говорила, мечтая о том, какой была бы наша жизнь, если бы мы остались. Я часто слышала, как она с нежностью говорит о Чжифу, но в моем сознании город оставался туманной мечтой, к которой я не могла получить доступ.

Если бы мы жили в Чжифу, думала я, мои ноги уже были бы сломаны и перебинтованы. Я знала, что делают со стопами девушек в городе. Быть хозяйкой дома означало навсегда сломать себе ноги, выйти замуж за богатого мужчину, рожать ему детей, а потом состариться, пока ноги превращаются в комья засохшего, потрескавшегося теста. Это было не то будущее, которого я хотела. В нашем селе самые честолюбивые семьи ломали дочерям ноги в пять лет – это был лучший возраст для перелома. В пять лет кости еще не слишком твердые, но девочка уже достаточно взрослая, чтобы выдержать боль. Она вырастет в женщину с крошечными стопами, идеальную жену или наложницу для богатого горожанина. Если какой-нибудь подруге ломали ноги, я не видела ее много дней, и даже когда заходила ее проведать, то не могла

у нее оставаться из-за удушающего запаха гниения кожи и костей. В конце концов, эта гноящаяся стопа превращалась в картофелину, а та превращалась в копыто, так что, когда мы играли на улице, мои подруги не могли бегать, прыгать и летать, а вместо этого сидели, опустив забинтованные безжизненные ноги на землю, ожидая дня, когда родители продадут их замуж.

Мои родители не бинтовали мне ноги, возможно, потому, что боялись, что я не выживу, возможно, потому, что не рассчитывали, что мы когда-нибудь покинем рыбацкую деревню. Я этому радовалась. У меня не было желания превращаться в игрушку городского мужчины. Я мечтала стать рыбаком и провести остаток своих дней на лодке, с большими и гордыми стопами – моей единственной опорой посреди качки волн.

А потом, когда мне исполнилось двенадцать, мои родители исчезли. Пустая кухня, их темная спальня, нетронутая кровать, незапертый и открытый кабинет моего отца, повсюду разбросанные бумаги. Одинокий ткацкий станок моей матери. Это утро было похоже на любое другое утро, за исключением того, что мои родители ушли и не вернулись ни в ту ночь, ни в следующую, ни в ту, что наступила потом.

Я ждала, сидя на крыльце, потом в маминой ткацкой мастерской, потом ходила кругами по кухне, пока у меня не заболели ноги, потом складывала и разворачивала одеяло в

их спальне. Бабушка следовала за мной, умоляя съесть что-нибудь, выпить что-нибудь, лечь спать, отдохнуть, заняться чем-нибудь. «Ты должна сказать мне, куда они делись», – плакала я. Все, что она могла сделать – это сунуть чашку чая мне в руки и растереть шею.

Я упрямо ждала. Я не спала три ночи.

Утром четвертого дня к нам пришли двое мужчин с вышитыми на одеждах драконами. Они протопали по нашему дому, драконы извивались и вертелись, пока мужчины переворачивали горшки и разрезали наши подушки. Они разломали мамин ткацкий станок, хотя видели, что в нем ничего не спрятано. Я чувствовала, как соседи с широко открытыми и испуганными глазами выглядывают из своих окон.

– Мы знаем, что они здесь живут, – сказал один из мужчин. – Известно ли вам наказание за сокрытие преступников?

– Здесь нет никого, кроме нас, – снова и снова возражала бабушка. – Мой сын и его жена умерли много лет назад. Все сгинуло в огне!

Потом они повернулись ко мне, оскалив зубы. Человек, который нас допрашивал, приблизился. Я не могла перестать смотреть на дракона на его рукаве, красно-золотого, с черным глазом, с языком, похожим на взлетевший хлыст.

– Послушай меня, – сказал он. – Я знаю твоего отца. Ты должна рассказать нам, где он.

Он говорил без угрозы, спокойно и уравновешенно. Мне

пришли на ум все те люди, что посещали наш дом. Они тоже знали моего отца. Они могли бы рассказать нам, где он. Я вспомнила человека, которого встретила в нашей столовой, того, что дал мне конфету. Мы могли бы начать с него.

Я открыла рот, чтобы рассказать им все, что знала. Но то ли по моей ли собственной воле, то ли по воле бессмертных изо рта не вырвалось ни звука. Что-то похожее на руку сжало мою шею и надавило, когда я попыталась сделать вдох. Я покачала головой, пытаюсь выдавить из себя слова.

– Бесполезно, – сказал другой мужчина своему спутнику. – Сумасшедшая женщина и немой заморыш. Ты уверен, что это правильный дом?

Первый мужчина ничего не сказал. Он уставился на меня, затем поманил другого мужчину. Они оба развернулись и вышли через парадную дверь. Их одежды сверкали на солнце, а я смотрела, как улетают драконы.

– Никогда и никому не рассказывай о своих родителях, – сказала мне бабушка после их отъезда. – Отныне мы должны вести себя так, словно больше никогда их не увидим. Так будет лучше для всех.

Но я не хотела слушать. Я верила, что мои родители вернуться. Я заправила их постель и разгладила их одежду. Я вплела в волосы самую замысловатую ленту – знала, что она понравится маме. Я даже попыталась склеить ее ткацкий станок с помощью пасты, которую нашла в кабинете отца. Я бу-

ду здесь к их возвращению, и они обрадуются, когда меня увидят. Так прошел тот день и каждый день после этого.

Когда наступила осень, а моих родителей не было уже три месяца, я подумала о женщине, с которой делила свое имя. По сюжету мать Линь Дайюй умерла, когда та была очень маленькой, вскоре после этого умер ее отец. Я задумалась, не исчезли ли мои родители из-за моего имени. Вдруг они исчезли, потому что такова была моя судьба.

– Если ты позволишь себе так думать, – сказала мне бабушка, – ты, скорее всего, воплотишь это в жизнь.

– Как будто это и так не воплотилось в жизнь, – сказала я. Еще никогда я не ненавидела Линь Дайюй так сильно.

Весной пришло письмо от неизвестного отправителя: мои родители арестованы.

– Со дня на день, – сказала бабушка, поджигая письмо. – Со дня на день за тобой придут люди, поймавшие твоих родителей.

Я ничего не понимала, а бабушка не дала мне ответов. Она одела меня в мальчишескую одежду и дала мне стеганую куртку. Она обрила мне голову. Я смотрела, как на пол черными полумесяцами падают пряди, стараясь не плакать при мысли о маме и о том, что у меня больше не будет волос, которые она смогла бы украшать, если когда-нибудь вернется.

– Отправляйся в Чжифу, – сказала мне бабушка, набивая ватой черные мужские туфли и примеряя их мне на ноги, –

затеряйся в городе. У тебя хорошие руки – ты найдешь честную работу.

– А что будет делать бабушка? – спросила я.

– Бабушка будет делать то же самое, что и всегда, – сказала она. – Бабушка будет выращивать хорошие травы, чтобы лечить людей. Они мало что могут сделать с такой сумасшедшей старухой, как я. А вот за тебя стоит переживать.

Сосед Ху посреди ночи пригнал свою повозку. Я взобралась в нее сзади с мешком одежды, булочками-*маньтоу* и несколькими монетками из запасов моих родителей. Бабушка пыталась дать мне еще, но я сжала пальцы в кулаки и накрыла ими карманы. Ей понадобятся эти деньги, когда вернутся те люди в драконьих одеждах.

– Не пиши мне писем, – сказала она, натягивая шапку на мою лысую голову. Я уже скучала по своим длинным волосам, скучала по теплу, которое они давали шее. Был конец суровой зимы, и я дрожала от ночного бриза. – Письма будут перехватывать. Вместо этого давай говорить друг с другом, когда идет дождь.

– А что, если там, куда я еду, не идет дождь? – спросила я. – Мы сможем говорить только изредка.

– Так и должно быть, – сказала она. – Иначе мое сердце будет разбиваться снова и снова.

Я спросила, увидимся ли мы когда-нибудь. Я плакала. Я вспоминала своих подружек постарше, которых в детстве отсылали прочь их семьи, отчаянно пытавшиеся облегчить

бремя лишнего рта. Я и подумать не могла, что меня тоже отправят прочь. Но моих родителей больше не было, и, лежа в повозке соседа Ху, закутавшись в стеганую куртку, я знала, что моя жизнь поворачивается к чему-то новому и гораздо более трудному. Прошли те времена, когда мы играли в канаве за нашей деревней. Я больше не буду помогать бабушке разливать чай на заходе солнца. Я больше никогда не увижу своих подруг. Я больше никогда не буду спать в своей постели.

Наш дом стал пустой оболочкой без своих обитателей. Меня здесь не будет, когда в этом году в саду вырастет первый перец, и не будет, когда придет время снять с него первую пробу – горьковато-сладкую, прохладную, непривычную. Почему-то именно мысль о перце превратила мои слезы в рыдания.

Бабушка прижала руки к моим глазам, словно могла вытереть поток моих слез. Затем поправила брезент, чтобы прикрыть меня.

– Когда будет безопасно вернуться, – сказала она, – ты поймешь это.

Я не могла разобрать в темноте, плачет ли она тоже, но ее голос был сдавленным.

Пока повозка соседа Ху увозила меня прочь, я прижимала к груди мешок с одеждой и еще теплыми *маньтоу*, пытаюсь удержать в памяти лица родителей, бабушки, моего дома. Складочки кожи в уголках глаз моего отца, когда он улы-

бался. Теплое место между мамиными волосами и затылком. Успокаивающий свет из комнаты родителей, когда я просыпалась от кошмара. Эти образы вращались передо мной, как четки для молитв, за которые нужно было держаться. Никогда не забуду, повторяла я себе.

Повозка соседа Ху наехала на камень, и брезент, покрывавший меня, соскользнул вниз, открывая беззвездное ночное небо. Я подняла голову, чтобы еще раз взглянуть на свой дом. В темноте фигура бабушки казалась сгорбленной и нечеткой. Мне пришло в голову, что я никогда раньше не смотрела на нее настолько издалека.

Ей понадобится помощь в саду. Это ее куртка сейчас на мне. Хватит ли ей теплой одежды на следующую зиму? Я должна была позаботиться о том, чтобы кто-то приходил проверять ее каждый день. Слезы снова залили мое лицо. Я смотрела, как бабушка становится все меньше, пока темнота не поглотила ее, пока мне не осталось лишь вообразить, что она все еще там, перед нашим домом, ждет, смотрит, не двигается со своего места, пока не убедится, что мы уехали. Я взмолилась, чтобы дождь пошел поскорее.

3

Это история девочки, которая прибыла в Чжифу в кузове повозки.

Путь занял шесть дней. Я лежала в повозке соседа Ху, засыпала и просыпалась, ела *маньтоу* из своего мешка и думала, думала.

Я должна стать новым человеком. Я больше не могла быть Дайюй, но могла бы стать кем-то другим, кем-то, в ком меня невозможно будет узнать. Я стану Фэном, мальчиком – так будет безопаснее. Без дома, без родителей, без прошлого. Без бабушки.

На пятый день пошел дождь. Одна из осей сломалась, и повозка перевернулась, а вместе с ней и я. Сосед Ху с руганью опустился на колени и починил сломанную ось. Вернувшись под брезент в грязной, прилипшей к коже одежде, я слушала, как дождь пальцами барабанит по дереву, и улыбалась, думая о бабушке. «Твоя Дайюй скучает по тебе», – прошептала я, закрыла глаза и представила, что бы она мне ответила.

На шестой день я проснулась от яркого солнца на лице и запаха океана. Из-за этого запаха мне показалось, что мы так и не уехали из рыбацкой деревни, но это чувство чего-то знакомого длилось недолго. Сосед Ху снял брезент и помог мне

выбраться из возка. Мы были в каком-то переулке. Вокруг нас шумели голоса на диалектах, которых я никогда раньше не слышала.

– Удачи, – сказал он, нерешительно похлопав меня по спине. – Скажу твоей бабушке, что ты добралась.

Он смотрел на меня с безнадежностью, словно в последний раз ожидал увидеть меня живой. Я старалась не показывать ему, что заметила это, вместо этого кланялась и благодарила его за беспокойство. Сосед Ху вернулся к своей повозке и вывел ее из переулка.

Фэн, мальчик, рожденный ветром, сказала я себе.

Хорошо. Начнем.

– Здравствуйте, – обратилась я в пельменную. – Я Фэн, и я хотел бы поработать на вас.

– Зачем мне нанимать тебя? – рассмеялся повар. – Чтобы ты перерезал мне горло, пока я сплю, и украл все мои деньги?

– Здравствуйте, – заглянула я в магазин гобеленов. – Меня зовут Фэн, и я кое-что знаю о работе на ткацком станке.

– Прочь, – сплюнул владелец магазина. – Здесь нет места таким отбросам, как ты.

То же самое было, когда я заходила в кафе, чайную или магазин специй. Мне нужна была чистая, новая одежда, обувь, которая не воняла бы. Мой замызганный вид ничем не отличал меня от беспризорных мальчишек, бродивших по

улицам – они выглядели так, словно голод был единственным, что поддерживало их жизнь. Я смотрела, как они входят и выходят из лавок, как их карманы медленно наполняются краденым. Они могли бы обчистить весь город, если бы не бдительные владельцы магазинов, которые гнали их метлами. Те самые владельцы магазинов, которые отказывали мне, не дожидаясь, что я скажу.

Я пыталась вспомнить все, что родители рассказывали мне о Чжифу. Я знала, что он постепенно заполнялся иностранцами и превращался в один из крупнейших портов во всем Китае. Он располагался на берегу океана, куда приходили корабли, груженые хлопком и железом, а уходили полные соевого масла и лапши. На узких улочках теснились яркие и шумные витрины магазинов на любой вкус и запрос. В одном месте можно было купить вино, а в другом – посмотреть на прекрасные шляпы всех цветов и фактуры. По соседству втиснулся магазинчик лекарственных трав, пахнувший имбирем и грязью. Я на мгновение задержала дыхание, вспомнив бабушкин сад, прежде чем девушка за прилавком достала свою метлу. Над магазинами располагался еще один этаж с жилыми помещениями и рабочими кабинетами, некоторые с небольшой верандой, выходящей на улицу. Я никогда раньше не видела так много зданий и так мало неба.

И еще я впервые в жизни увидела иностранцев. «*Вайго-жэнь*», или «люди из чужеземных стран» – так называли их мои родители. Иностранцы толпились в магазинах, их тела

были большими и уверенными, их кожа выглядела так, будто ее оттерли дочиста. Я не знала, что волосы могут быть любого цвета, а не только черного – на головах иностранцев были цвета грязи, сандала, выцветшей кожи, соломы. Я даже видела мужчину с волосами цвета моркови. Я не могла перестать таращиться на него и отвела глаза, только когда он поймал мой взгляд.

Я бродила по этим причудливым улицам, звуки города увлекали меня: кричали купцы, играла музыка, незнакомые слова выскакивали из уст, не похожих на мои. Я бродила от дома к дому с тем же полным надежды лицом, но везде было одно и то же: для таких, как *ты*, здесь работы нет.

Когда наступила ночь, я забралась под брошенную тележку с фруктами, набив живот битыми яблоками и грушами – все, что я смогла купить на деньги, которые дала мне бабушка. Было не так холодно, как прошлой ночью. Я завернулась в куртку, и мне приснилось, что двое мужчин вернулись к нам домой и забрали мою бабушку.

Следующий день не принес ничего нового. Я оказалась в деловом районе, где вдоль улиц стояли здания причудливой формы и стиля, их окна были то квадратными, то округлыми, похожими на цветы, заключенные в изогнутые металлические прутья. Я прошла мимо иностранного отделения почты из серого кирпича с окнами, похожими на туфли с круглым носком. Пока я ломала голову над этими окнами, появился светловолосый мужчина. Он разговаривал сам с со-

бой, его усы изгибались вслед за губами. На мгновение я задумалась, не сжалятся ли надо мной иностранцы. Не предложат ли они кров, еду, работу? Но как только эта мысль пришла мне в голову, светловолосый мужчина заметил меня и двинулся в мою сторону. Я бросилась прочь, прежде чем он успел подойти ближе, встревоженная вождением в его глазах.

Что же делать? Хотела бы я, чтобы бабушка дала мне больше информации перед отъездом. Хотела бы я, чтобы родители рассказали мне больше о Чжифу или чтобы я больше о нем помнила. А сильнее всего я хотела, чтобы ничего из этого никогда не происходило, чтобы мы могли снова стать семьей, которой были, когда Чжифу казался всего лишь сказкой и моей единственной обязанностью была забота о саде.

Злилась ли я? Да. На родителей – за их исчезновение. На бабушку – за то, что она отослала меня и не поехала вместе со мной. На тех мужчин, которые вошли в наш прекрасный дом и разрушили его. Эта новая жизнь бесцельных скитаний по улицам была не той, которую я себе обещала. Когда-то я мечтала, что продолжу дело родителей, возможно, даже создам собственные красивые вышивки. Я ловила бы рыбу в океане, обменивала ее на муку, сахар и водоросли у семей моих подруг. Мы всегда были бы сыты, и мы были бы семьей, способной пережить времена года, империи и даже смерть.

К вечеру пятого дня я так много ходила, что мои пятки чувствовали себя так, словно по ним били камнями. У меня

было легкое головокружение, тело казалось невесомым, а в голове клубился туман, мешавший вспомнить, по каким из этих улиц я уже ковыляла. Я умру с голоду, прежде чем вообще найду работу, сказала я себе. Я превратилась в парящее тело, нить, пойманную ветром, и никто вокруг не заботился обо мне и не замечал. Возможно, я уже исчезла – пришла в голову дикая мысль. Когда тело поедает себя изнутри, что остается последним?

Я мечтала о пельмешках, которые готовила бабушка: пухлых тяжелых кармашках, набитых свининой с зеленым луком или креветками с кабачками. Мне нравилось есть их прямо из кастрюли, чтобы можно было обжечься исходящим паром бульоном, вытекавшим после первого укуса. Если я закрывала глаза, то могла снова ощутить их запах – это сытное тепло, гладкое слоистое тесто и обещание того, что прячется внутри.

Это было не просто мое воображение. Я действительно чувствовала запах. Мои глаза распахнулись, и жизнь вновь вернулась ко мне. Всего в нескольких шагах впереди слева была пельменная. Я рванулась к ней, но быстро остановилась – ее хозяин подметал полы, а внутри не горели фонари. Заведение было закрыто.

Если раньше голод толкал меня в туман, то теперь голод вытаскивал меня из него. Я помчалась по переулку вокруг пельменной, пока меня не вынесло в грязный коридор, пахнущий перезрелыми апельсинами. Я чувствовала, как желу-

док пульсирует в такт сердцу.

Там я и выжидала.

Как я и предполагала, появился владелец пельменной. Он закончил подметать полы и теперь вышел через заднюю дверь с подносом нераспроданных пельменей в руках. Он выбросил содержимое подноса в кучу мусора и вернулся в дом, заперев за собой дверь. Я огляделась. Сгущалась ночь, и в коридоре никого не было.

Я бросилась вперед, рот наполнился слюной. Пельмени лежали поверх какой-то грязной тряпки, но они все еще были перламутровыми, почти лопались изнутри. И несмотря на запах гнилых фруктов и грязной воды, я вождедела их. Я собрала все пельмени и засунула их себе в штаны. Той ночью я спала на ступенях церкви, а еда радостной тяжестью лежала в желудке.

4

Бабушка была права – у меня хорошие руки. Это подарок, который сделала мне мама. Когда я проснулась утром с ясной головой благодаря полному животу, я пересчитала на пальцах все, что умела делать руками.

Я могла лепить пельмени и аккуратно соединять хвостики паровых пирожков-баоцзы. Очищать яблочную кожуру маленьким ножом, отламывать кончики стручковой фасоли, не теряя лишней мякоти. Эти пальцы сохранят мне жизнь. Все, что нужно – это чтобы кто-нибудь мне поверил.

Я бегала из лавки в лавку, и за мной постоянно следовал вопль лавочников: «Уходи, ты здесь никому не нужен, больше не возвращайся».

– У меня хорошие руки, – умоляла я седьмую или восьмую, или уже девятую хозяйку лапшичной – лапшу в ней тянули вручную. – Я делал лапшу с мамой – мои пальцы подходят для лапши.

– Ты очень худой и маленький, даже для беспризорного мальчишки, – ответила мне лавочница, ее глаза скользили вверх и вниз по моему телу, как тень. – Знаешь, никто не возьмет к себе такого голодного щенка, как ты, – тебе нужно научиться дисциплине, прежде чем кто-то сможет тебе доверять.

Она была добрее остальных. Она не стала доставать метлу

и угрожать содрать с меня кожу.

– Это все, что я могу для тебя сделать, – указала она на дверь.

Это был знак идти прочь. Я поклонилась ей и повернулась, чтобы уйти.

– Не так быстро, – крикнула она, когда я ступила на улицу. – Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот, на двери. Видишь?

Я увидела. Сначала я подумала, что это картина с изображением дерева – мазки были длинными и уверенными, как корни, заполняющие лист бумаги. Но подойдя поближе, я поняла, что это не дерево, а иероглиф, которого я не знала. Он был написан не так, как любой иероглиф, встречавшийся мне раньше, – тушь была черной и плотной, каждая линия, крючок и точка были толстыми там, где должны быть толстыми, и тонкими там, где должны быть тонкими, идеальными по нажатию, идеальными по балансу. Каким-то образом, хотя я ничего не знала ни об этом иероглифе, ни о человеке, который его написал, я почувствовала умиротворение. Этот рисунок лился в меня, наполнял меня гармонией.

– Это подарок, – сказала хозяйка лапшичной. – Я слышала, художнику нужен слуга.

Я спросила, где мне найти этого художника, надеясь, что ее доброжелательность не иссякнет. Она одернула фартук, проверяя, не вошли ли в лапшичную покупатели. Никто не заходил.

– У меня дочь твоего возраста, – сказала она мне. – По-

этому я не выгоняю тебя на улицу. Ищи красное здание с крышей цвета арахиса. Это все, что я тебе скажу. Судьба решит, суждено ли тебе его найти.

Это было первое прикосновение надежды, которое я позволила себе ощутить с момента прибытия в Чжифу. Я вылетела из лапшичной, едва не столкнувшись с человеком, несущим ящик с цыплятами.

– Красное здание с крышей цвета арахиса? – отчаянно спросила я.

– Уходи, пока я тебя не побил, – прорычал он.

Если человек, которого я искала, действительно был художником, то я точно знала, куда идти, чтобы найти того, кто мог бы помочь. Я увернулась от ноги мужчины и помчалась в магазин гобеленов, в который попросилась на работу в первый же день. Его хозяин встал, как будто ждал меня. Он поднял ладонь, готовый выбить из моих рук любое драгоценное сокровище, которое я украла.

– Я говорил тебе, никаких попрошаек, – предупредил он. Рукава его *чаншаня* развевались, делая его похожим на большую птицу.

– Пожалуйста, – сказала я, задыхаясь, – не подскажите ли вы, где найти красное здание с крышей цвета арахиса? То, в котором живет каллиграф?

Хозяин взглянул на меня с подозрением и замешательством.

– Зачем тебе это знать? Хочешь украсть у доброго чело-

века его работы?

– Нет, – сказала я.

Я подумала о своей матери. Гобелены вокруг снова напомнили мне о ней резким, болезненным рывком. Я вновь оказалась в ее комнате, сидела на ее коленях и смотрела, как ее руки танцуют взад и вперед по ткацкому станку: ее ногти как жемчуг, ее теплая грудь у моей спины, глубокие вибрации ее напева напоминают колыбельную.

– Эй, что ты делаешь? – спросил сбитый с толку хозяин, выдергивая меня из воспоминаний. – Почему ты плачешь?

И правда. Я этого не осознавала, но мое лицо намокло, а рот скривился. Вес последних нескольких дней придавил меня, погружая в центр земли. Я не хотела всего этого.

– Прошу прощения, господин, – сказала я, вытирая слезы ладонью. – Я знал людей, которые ткали такие же гобелены, как ваши, только они вышивали цветы, птиц и даже драконов.

Тут хозяин как будто смягчился.

– Ты знал человека, который ткал гобелены, – повторил он. – Здесь, в Чжифу? Как их зовут? Я их знаю?

– Нет, – сказала я, качая головой. – И, вероятно, никогда не узнаете. Они не так давно исчезли. Но они научили меня, как пользоваться руками. И именно поэтому я здесь, господин. Я ищу работу, но сначала мне нужно научиться дисциплине. Я ищу место, где смогу работать руками. Вы не знаете, где находится красное здание с крышей цвета арахиса?

Скажите мне, и я оставлю вас в покое, и если когда-нибудь вернусь, то буду более дисциплинированным и заслуживающим доверия, обещаю, господин.

Близилась ночь. Я наблюдала, как хозяин обдумывает мои слова, ожидая взрыва, который изгонит меня из его магазина. Между нами текли секунды.

Но ожидаемого взрыва не последовало. Вместо этого хозяин открыл рот.

5

Когда на следующее утро я проснулась, какой-то мужчина смотрел на меня сверху вниз, его нога упиралась мне в бок. Я вздрогнула. Мужчина смотрел на меня поверх очков, сцепив руки за спиной. Он был одет в серый *чанишань* с вышитыми на рукавах персиковыми цветами. Мне показалось, что он похож на моего отца.

– Почему ты спишь на ступеньках моей школы? – В его голосе не было отвращения или расстройства, только любопытство.

– Прошу прощения, господин, – сказала я ему, отползая прочь. – Пожалуйста, не зовите охрану.

– Подожди, – сказал он, вытянув руку. Его пальцы были окрашены в черный цвет. – Ты не ответил на мой вопрос.

Я сказала ему, что меня зовут Фэн и мне нужна работа. Эта ложь уже стала легкой, она выскользнула из меня, как если бы была правдой.

– Я пришел в вашу школу, чтобы стать вашим учеником.

– Но я не ищу ученика, – сказал он. – С чего ты решил, что ищу?

– Женщина в лапшичной, – сказала я ему. – Она сказала, что вам может понадобиться слуга.

– Понятно. Интересно, почему она так подумала. Что ж, Фэн, которому нужна работа, мне жаль тебя разочаровывать.

Я не нанимаю работников.

Я взглянула на свою одежду. Штанины моих брюк были пыльными от ступеней, на которых я спала. И тут меня осе-
нило.

– Подождите, – сказала я ему. – Если вы не ищете уче-
ника, то, возможно, ищете кого-то, кто смог бы поддержи-
вать порядок в вашей школе. Я пришел, потому что увидел
в лапшичной, какое прекрасное искусство вы создаете. Та-
кого способа написания я еще не видел. И конечно, место,
производящее такую красоту, тоже должно выглядеть соот-
ветствующе?

Никогда раньше я не вела себя со взрослыми так смело. Я
закусила губу, ожидая возмездия за свое нахальство.

Но его руки не двигались. Вместо этого его взгляд пере-
местился на грязь на моих штанах, а затем на ступеньки.

– Что делает тебя годным для этой работы?

Я подумала о маме и бабушке.

– У меня очень хорошие руки.

– Ну-ка вытяни их, – сказал он.

Я неохотно подчинилась: это были девчачьи руки – ко-
стяшки пальцев мягкие и податливые, мозоли от сада уже
давно сошли. Эти руки усердно не работали ни дня. Муж-
чина наклонился и перевернул их, изучая мои ладони, сжи-
мая плоть под большими пальцами. Мне казалось, он смот-
рел долго, так долго, что я начала задаваться вопросом, не
заснул ли он. Но когда он снова выпрямился, то оказался

очень даже бодрым и довольным.

– Ты не солгал, – сказал он. – Хочешь работу, Фэн с хорошими руками?

Солнце вставало, окрашивая его седые волосы охрой. Я посмотрела в его очки, не спрашивая, что такое он увидел в моих руках, а вместо этого ответила «да».

– Тогда встань, – сказал он мне.

Я так и сделала, зная, что впервые в жизни стою как следует.

– Твое имя означает «ветер», – продолжил он. – И я ожидаю, что ты будешь двигаться со скоростью ветра – никакой лени, никаких ошибок. Когда ты работаешь на меня, ты работаешь по-настоящему.

Его звали наставник Ван, а красное здание с крышей цвета арахиса было его школой каллиграфии.

Мы вошли в нее вместе. Свет проникал в класс из занавешенных окон, оставляя белые полосы на деревянном полу. Класс был разделен на двенадцать рабочих мест: на каждом лежала кисть, тушечница, длинные листы рисовой бумаги и другие незнакомые мне материалы. На стенах с потолка до пола свисали свитки с черными иероглифами. Иероглифы были возвышенными и продуманными, они застыли в танце. Они выглядели так, будто им придали форму силы, превосходящие их самих.

Личные покои наставника Вана, закрытые ширмой, находились напротив класса. Мы прошли мимо, не останавлива-

ясь. В последней маленькой комнате было полно материалов: неиспользованных тушечниц, свитков рисовой бумаги. Здесь я и буду спать.

– Занятия начинаются, когда солнце прекращает восхождение, и заканчиваются с первыми признаками темноты, – сказал наставник Ван, осматривая кладовую в поисках метлы. – Будешь подметать наружные ступеньки и двор до и после занятий каждый день. Все остальное, что ты будешь делать со своим временем, зависит от тебя, но имей в виду: твои действия будут отражаться на моей школе, куда бы ты ни пошел.

Он нашел метлу и отдал мне. У нее была толстая ручка – я едва могла обхватить ее пальцами. Я попыталась скрыть это от наставника Вана, опасаясь, что это будет означать, что у меня больше нет работы. Но он отвернулся и повел меня через заднюю часть школы в выложенный плиткой дворик. В центре каждой плитки был выгравирован иероглиф. Посреди дворика располагался фонтан, в котором два дракона обвивались вокруг четырех горшков. Фонтан окружал небольшой садик. Я с глубокой тоской подумала о бабушке, а затем попросила воспоминание уйти. Сейчас нужно было сосредоточиться.

– Ни одного камня не должно быть пропущено, – сказал наставник Ван. – Как ты проницательно заметил, школа каллиграфии должна отражать красоту, которую она создает в своих стенах, сохраняя презентабельный внешний вид.

Я кивнула, не собираясь спрашивать, почему же он допустил, чтобы снаружи было так грязно, или почему крыша цвета арахиса выглядит провисшей. Он говорил так, словно каждое его слово было последним, и этого для меня оказалось достаточно.

Солнце теперь стояло высоко в небе, освещая двор.

– Урок вот-вот начнется, Фэн, – сказал он. – Тебе пора заняться делом, мальчик с хорошими руками.

Я поклонилась, потому что это показалось мне уместным, и направилась к крыльцу, держа метлу обеими руками. Солнце над головой последовало за мной. День был прекрасен, цветы прекрасны, каллиграфия прекрасна, каменные плитки прекрасны. Тем не менее я бы не возражала, если бы пошел дождь.

На следующее утро я сделала, как мне велели. Проснувшись до восхода солнца, вытащила метлу из шкафа и пошла ко входу в школу. Я подметала каждую ступень по три раза и смотрела, как пыль от моей метлы клубится в утреннем свете, напоминая о том, как мама стряхивала муку с рук. Вернувшись внутрь, я обнаружила тарелку с кашей и листьями молодой горчицы, ожидавшую возле моей спальни.

Все ученики наставника Вана оказались мужчинами. Они зашли в здание, выстроившись в ровную линию, и двигались аккуратно, как будто копируя те иероглифы, которые рисовали. Ровные, суровые лицами, послушные, они опустили

на колени на своих местах и закатали рукава, ожидая учителя.

– Доброе утро, ученики, – сказал он, входя.

– Доброе утро, наставник, – ответили они стройным хором.

– Кто сегодня наблюдал за восходом солнца? – спросил он ровным голосом.

– Не я, наставник, – в унисон раздалось в ответ.

– Прошу вас наблюдать за ним завтра, и послезавтра, и каждый последующий день, – сказал наставник Ван, – и однажды вы поймете, как нарисованные вами иероглифы могут заполнить целый мир.

Студенты молчали, а я впала в транс. Дело было не только в том, как он говорил: размеренно, словно кувшинка, плывущая по пруду, но и в том, что он говорил. Я не поняла, что он имел в виду под этой своей фразой, но знала, что если где-то есть человек, который даст мне ответы на вопросы жизни, то это он.

С тех пор я поклялась, что найду себе место в школе наставника Вана. Все всегда шло одним и тем же чередом: утром я подметала, а затем, когда солнце поднималось, проглатывала свою тарелку каши и маленькое блюдо с овощами, которое ее сопровождало, и торчала в коридоре, наблюдая, как заходят студенты, завидуя их уверенности, тому, что у них был дом, откуда они уходили и куда возвращались.

Днем я гуляла по центру города. Еда наставника Вана бы-

ла скудной в своей простоте – и она всегда кончалась как раз перед тем, как я успевала наестся. Я жаждала мяса, но больше всего скучала по рыбе, приготовленной на пару, которая была неизменным блюдом моего детства. Я мечтала о блестящих креветках и соусе из имбиря, чеснока и ягод боярышника. Для моих родителей и бабушки еда всегда была праздником, но для наставника Вана она оказалась лишь простой задачей, которую необходимо выполнить, прежде чем обратиться к более важным вещам. «Голод – это хорошо», – сказал он мне, когда я впервые попросила еще одну порцию риса. «Он позволяет духу художника сосредоточиться». После этого я больше никогда не просила добавки.

И вот этот голод изо дня в день приводил меня в центр города. Я хотела поглотить все: и булочки, и кунжутные лепешки, и лапшу ручного приготовления, и неузнаваемые слова иностранцев, и сочный, едкий запах океана. Так вот что это за город, город, который любили мои родители, думала я. Я могла бы съесть всю еду с прилавков, проглотить каждую деревянную балку, поддерживающую всякое здание, и мне все равно хотелось бы еще. Это была новизна. Это была возможность. Это было больше, чем голод в животе – он жил и в моем сердце, и я знала, что однажды этот голод поглотит меня всю. Но пока нет. Пока нет.

После полудня я возвращалась в школу и болталась во дворе, запоминая иероглифы на каменных плитках под ногами. Иногда ученики выбрасывали во двор недоеденные яб-

локи. Если стояла хорошая погода и наставник Ван открывал окна, я могла подслушать урок, позволяя его твердому тенору завладеть собой.

Из этих уроков я узнала, что кисть, тушь, бумагу и тушечницу называют четырьмя сокровищами рабочего кабинета. Я узнала, что помимо нанесения четких линий в правильном порядке, чтобы создать красивую каллиграфическую надпись, художник также должен поддерживать свой внутренний баланс.

«Каллиграфия, – провозглашал наставник Ван, – это не только способ начертания, но и воспитание характера». Он верил, что каллиграфия – это философия, а не одни лишь практические занятия. Каллиграф должен носить ее в себе всю свою жизнь, так, чтобы тушь заменила ему кровь, а кисть – руки. Быть каллиграфом означало применять принципы каллиграфии к каждому действию, реакции и решению, будь то на листе бумаги или вне его. «Такими людьми вы можете стать, – говорил наставник Ван своим ученикам, – людьми, которые всегда обращаются с миром, как с чистым листом бумаги».

Для него не существовало таких вещей, как тревога, опасение, беспокойство или потеря. Когда применялись принципы каллиграфии, ответ находился всегда: увидь иероглиф, и пусть то, что ты знаешь, укажет тебе путь. И жил он так же: представь желаемый результат, и пусть то, что ты знаешь, приведет тебя к нему. И прежде всего необходимы трени-

ровки.

– Что делает письмо хорошим? – спросил он студентов.

– Твердая рука, – ответил кто-то.

– Терпение и острый глаз, – сказал другой.

– Отличные навыки, – попробовал третий.

– Все это верно, – сказал наставник Ван. – Но вы забываете самое важное: нужно быть хорошим человеком. В каллиграфии вы должны уважать то, что вы пишете, и того, для кого вы это пишете. Но прежде всего – вы должны уважать самих себя. Это монументальная задача – создать единство между тем, кем вы являетесь, и тем, кем вы могли бы быть. Подумайте: каким человеком вы могли бы стать и как личность, и как художник?

Последовало благоговейное молчание. Студенты услышали достаточно, чтобы питать свои мечты долгие годы. А я? Наконец-то у меня был ответ и путь, который помог бы мне преодолеть бремя моего имени, и судьбу, которая с ним пришла. Если каллиграфия станет ключом к тому, чтобы отделить меня от Линь Дайюй, тогда я буду практиковаться в ней, как наставлял наставник Ван. Я стану той, кто не подчинится воле судьбы и историям, в честь которых я была названа, я стану той, кто полностью принадлежит самой себе, со своим собственным наследием.

И, возможно, тогда родители вернуться ко мне.

Я сразу приступила к делу. Держа в руке длинную березовую ветку, я обводила иероглифы на каменных плитках во дворе, размахивая и потряхивая веткой, словно готовилась вызвать что-то из-под земли. Это казалось глупым, и я понимала, что, должно быть, так и выглядела со стороны: мальчик с девчачьей внешностью, девчонка с мальчишеской внешностью, которая что-то понарошку пишет и думает, что он или она может стать храброй. Ветка ощущалась как нечто чуждое руке, движения были неловкие. Когда урок закончился и ученики стали выходить, мне не хватило времени, чтобы скрыть то, чем я занималась. Они увидели, что я царапаю плитки веткой, и начали смеяться, указывая на палку, висящую в моей нетренированной руке. Я уронила ее и побежала в школу в поисках метлы, кусая губу и злясь на себя.

Дайюй из прошлого, рядом с которой еще несколько месяцев назад была бабушка, и чья теплая постель принадлежала только ей, отступилась бы от мечты овладеть каллиграфией. Стараться изо всех сил – и быть поднятой на смех за это, – та Дайюй такого бы не поняла. Но со мной что-то происходило, происходило с момента, как бабушка отправила меня на повозке в Чжифу. Я жаждала того, что может дать мне каллиграфия, и точно так же, как знала, что никогда не стану женой горожанина, я знала, что каллиграфия должна

быть в моем будущем. Это будет нелегко. Это будет именно так, как сказал наставник Ван – мне нужно тренироваться.

Первые несколько дней в Чжифу подготовили меня к этому моменту: каждый владелец магазина, который отверг меня, каждый взгляд отвращения, который я твердо встречала, превращались в камень, пока, в конце концов, у меня не оказалось достаточно камней, чтобы выстроить вокруг себя крепость. Пусть их насмешки проходят мимо, подумала я в тот вечер. По крайней мере, у меня есть моя крепость. И она неприступна.

На следующий день после того, как работа была закончена, я снова стояла во дворе с березовой веткой в руке. День был прохладнее обычного, но окна были открыты. Оттуда доносился голос наставника Вана, и я позволила ему окутать меня, когда водила рукой по воздуху.

– Присмотритесь повнимательнее, – говорил он. – Ваш почерк многое рассказывает о вас. По одному взгляду на то, что вы написали, я могу понять ваши эмоции и ваше настроение. Я могу оценить вашу дисциплину и определить ваш стиль. Есть еще много секретов, которые раскроет ваше письмо, и вы встретитесь с ними, когда придет время.

Я жадно ловила каждое слово. Эти знания были драгоценны для меня, это был мой путь в мир. У меня не было формального образования, но в подчинении у наставника Вана я чувствовала, что становлюсь тем человеком, которым, как мне казалось, я хотела быть. Этот человек был сильным

и благородным, как мой отец, добросердечным и опытным, как моя мать, тем, кто мог приглядывать за всем с мягкой рассудительностью, как моя бабушка. Если мне удастся стать таким человеком, подумала я, то, по крайней мере, я останусь близка с ними, даже если их больше не будет рядом. А еще я подумала, что все это не будет связано с Линь Дайюй или ее историей.

Настал день, когда мне уже не нужно было обводить каменные плитки, чтобы что-то написать. Вместо этого я подняла взгляд вверх, позволив иероглифам предстать перед глазами: плотным, мускулистым и прямым – таким же, как те, что висели в школе наставника Вана. Я рубила и взмахивала рукой в воздухе, пока иероглифы не заполнили все небо. Они приглашали меня ухватиться за них, вылепить их из пустоты. Или, возможно, вылепить их из самой себя.

Теперь я не только подметала ступеньки школы, а еще каждый день убирала класс после того, как ученики расходились по домам. Я молча двигалась по комнате, постоянно опасаясь потревожить влажную тушь, все еще висевшую в воздухе. Я скользила мимо двенадцати рабочих мест с метлой в руке, замороженная символами, оставленными студентами.

К тому времени я уже знала названия и назначение всех инструментов: кисть, бумага, пресс для бумаги, подкладка под бумагу, тушь, тушечница, печать, паста для печати.

«Хорошая кисть гибка, – говорил наставник Ван. – Одним взмахом она должна написать множество символов, будь то „ухо“, „коготь“ или „гора“. Чем мягче кисть, тем больше возможностей она может создать и тем больше вариаций линий».

В классе наставника Вана были кисти всех размеров. Некоторые походили на швабры: их головки были толстыми и тупыми – они промокали насквозь, когда их опускали в тушечницы размером с ведро. Другие были меньше костяшки пальца, а их ворсинки собирались в тонкое острие. Мне нравилось, что не существовало единственно верного ответа, какую кисть лучше использовать. «Вопрос не в кистях, – говорил наставник Ван своим ученикам. – Вопрос в том, чего требует бумага».

Бумага, третье сокровище рабочего кабинета, также бывала разных видов. Одну делали из соломы или травы, другую – из бамбука или даже конопли. Наставник Ван предпочитал однослойную рисовую бумагу, на которой тушь очень быстро растекалась. Именно поэтому он ее и любил – чтобы стать мастером, каллиграф должен уметь управляться даже с самым чувствительным материалом.

Однажды вечером я заметила, что какой-то студент неправильно написал иероглиф «вечный» # – вместо того, чтобы начать линию сверху и двинуться вниз, он начертил ее снизу вверх. Все вышло наперекосяк, тяжело. Прежде чем я

смогла себя остановить, я опустилась на колени на подушку у стола и взялась за кисть, оставленную учеником. Ее древно было сделано из бамбука, головка из каких-то волос. Наставник Ван однажды сказал ученикам, что когда они станут старше, то смогут сделать кисть из волос своего новорожденного ребенка. Это величайшая честь.

Могла ли я быть такой нахальной? Я окунула кончик кисти в тушечницу, где после дневных уроков осталось небольшое пятнышко туши. Я зачеркнула символ, нарисованный на бумаге ученика, и переписала его, волоча руку по бумаге – вес кисти оказался удивительным. Рисование настоящей кистью, а не березовой веткой, ощущалось иначе – приходилось учитывать так много всего, например, движение ворса и ртутную природу туши. Каждая отметина, каждая помарка оставляют след. Я привыкла просто двигать запястьем и воображать, что результат оказался идеальным. Теперь, держа живую непослушную кисть в руке, я поняла, что мне еще многому предстоит научиться. Тем не менее я чувствовала, как разные части моего существа встают на свои места, как будто я только что открыла невероятную тайну о самой себе.

Когда я закончила, то села и уставилась на иероглиф. Он вышел далеко не удовлетворительным, но все равно внушительным, свежая тушь вдыхала и выдыхала бумагу вокруг него. «Однажды нанесенные на бумагу, – говорил наставник Ван своим ученикам, – китайские письма будут храниться веками, не выцветая. Когда вы обнаружите, что застряли на

особенно захватывающем завитке, когда вам покажется, что линии могут выпить всю вашу кровь, помните, что каждый иероглиф несет в себе множество историй и что вы смотрите на целые века прошлого».

Я принялась в восторге рисовать иероглифы, которые выучила на плитках двора, пока не заполнила ими всю страницу. Только когда сверчки заиграли как оркестр, я вспомнила, что еще не закончила свою работу.

На следующий день из окна донесся голос наставника Вана.

– Кто это написал? – спросил он ученика, на чьей бумаге я рисовала. Ученик настаивал на том, что иероглифы были его собственными, но наставник Ван назвал его лжецом.

– Ты горделив и эгоистичен, Цзя Чжэнь, – сказал наставник Ван. – И твой почерк всегда будет отражать это. А значит, я больше не могу называть тебя своим учеником.

Я продолжала подметать двор, забыв, как дышать.

Опальный ученик по имени Цзя Чжэнь потом нашел меня во дворе. Он был не первым, кого выгнали – наставник Ван не терпел тех, кто нарушал правила его школы, и в результате количество его учеников сократилось до шестерых. А без Цзя Чжэня их стало пятеро.

– Я знаю, это был ты, – сказал он, толкая меня на землю и пиная ногами. – Никто не придет тебя спасать. Никто не будет скучать по тебе, потому что у тебя никого нет.

Он не переставал пинаться. Я свернулась калачиком, не

зная, от чего намокло лицо – от слез или от крови.

Такой наставник Ван и нашел меня позже, когда наступила ночь, а класс остался неубранным.

– Ты неплохо пишешь, – сказал он, помогая мне сесть, – но ты должен писать так, словно следуешь за своим сердцем. Наблюдай за стаей бакланов в небе, проследи глазами путь, который проходит падающий с дерева лист, вспомни линии, которые очерчивают распущенные женские волосы на ветру. Это и есть каллиграфия.

Я теперь не только подметала, когда приходила в класс по вечерам. Я еще и училась. После того, как дневные занятия заканчивались, наставник Ван оставался на учительском месте в передней части класса, и я слушала, замороженная стойким запахом туши и мокрой бумаги, моя рука следовала за его рукой, пока он водил пальцами по воздуху.

Я узнала, что сила каллиграфа начинается с момента, когда он берется за кисть, что все его выборы, вроде: насколько влажной будет тушь, или как сильно кисть надавит на бумагу, или как быстро повернется рука – наполняют линии душой их окончательной формы.

– Это называется стремление, – говорил наставник Ван. – Это называется идея.

Когда он читал свою лекцию, то смотрел не на меня, а на что-то надо мной, как если бы разговаривал с той версией меня, которой я однажды стану. Вокруг нас на ночном ветерке развевались свитки с иероглифами. Эти произведения

он собирал на протяжении многих лет, они были написаны руками его учителей и более известных каллиграфов.

Он говорил, что каждый каллиграф, каждый художник начинает одинаково. Он задается целью создать искусство. Но эта целеустремленность приводит к тому, что искусство становится скорее работой, а не искусством. «Нужно тренироваться создавать искусство без цели или плана, полагаясь только на свою дисциплину, подготовку и добрую душу. На это способны немногие каллиграфы. Так выглядит следование за своим сердцем».

У него не было детей. Я ничего не знала о его семье. В этом смысле мы идеально подходили друг другу. По ночам, пока он читал и готовился к завтрашнему уроку, я садилась на свою койку и тренировалась писать иероглифы на ладони.

– Когда твой почерк станет очень хорошим, – говорил он мне, – ты сможешь писать для важных чиновников. Твоя работа привлечет к тебе внимание, Фэн, мальчик с хорошими руками.

С каждым уроком я становилась смелее. Я больше не буду просто Фэном, мальчиком без прошлого и без будущего. Сколько иероглифов я уже выучила – тысячу, две? Бабушка отправила меня в Чжифу, чтобы я смогла просто выжить, но теперь мои мечты выросли. Я захотела стать учителем, как наставник Ван. Я захотела, чтобы мир увидел то, что я способна создать. Это твои пальцы и глаза, мама, думала я, водя кистью по странице. Это твое терпение и сила духа, папа. И

это возможность жить, которую дала мне ты, бабушка.

– Твоя конечная цель, – завершалась лекция наставника Вана, – состоит в том, чтобы достичь состояния свободы, в котором ты сам и тот художник, которым ты мог бы быть, стали одним целым. Это то, что мы называем цельностью – когда ты наконец оказываешься в единстве *с самим собой*.

– Да, наставник Ван, – ответила я, прежде чем окунуть кисть в тушь и начать заново.

Я никогда не сомневалась в нем, лишь впитывала его слова и позволяла им нести меня изо дня в день. Он не платил мне за работу ничем, кроме уроков, и я никогда его об этом не просила. Но иногда, если я очень хорошо выписывала иероглиф, он подкладывал мне серебряную монетку. Я их берегла как могла, видя перед собой будущее, где могла бы стать основательницей своей собственной школы каллиграфии, и покупала только лучшие принадлежности для учеников. Награда за то, что я следовала за своим сердцем, казалось, приближалась от иероглифа к иероглифу.

Но мне стоило знать, что долго это не продлится.

Теперь-то я знаю: меня отравили.

Когда я просыпаюсь, то делаю это тихо. Сон хлещет по ушам, а разум все еще пытается добраться до мира бодрствования. Не помню, как засыпала, и не помню, снились ли мне сны.

Тело тяжелое, такого веса я никогда раньше не чувствовала. Когда я жила в рыбацкой деревне, то всегда была легкой и жизнерадостной, двигаясь вприпрыжку от океана к полям, к ступенькам нашего дома. На улицах Чжифу я торопилась учиться, торопилась выжить. А теперь клей, выстилающий мое горло, припечатывает меня к месту, где я лежу. Я вижу закрытыми глазами из стороны в сторону, приказывая им сфокусироваться. В моем черепе пульсирует то, что повторяется в ладонях и подошвах ног.

Я пытаюсь сесть.

Первое, что я замечаю: я лежу на коврике на полу. Я в какой-то комнате.

Второе: в этой комнате темно. Я могу разглядеть тени от предметов и тюфяк под собой, но не более того. В темноте этой комнаты кажется, что так могло продолжаться годами. Я ощупываю тело в поисках других вещей, которых не вижу: рубашки, штанов, носков, обуви. Ничего не болит, кроме

головы. Ничего не кажется неправильным, за исключением того, что неправильно все.

Что я помню? Как заканчиваю работу и совершаю ежедневную прогулку от школы наставника Вана до набережной. Рыбный рынок, женщина-торговка. Ее размахивающие руки. Круг торговцев рыбой, жаждущих драки. Неожиданная тяжесть на моем плече. На меня смотрит мужчина в странной одежде. Короткие волосы. Солнечный блик. Два желтых зуба. Обещание еды. Идем пешком. Идем пешком. Идем пешком.

Я прижимаю пальцы к вискам. Припухлости нет, болезненности нет. Что еще я помню? Здания, которые мы миновали: церковь, несколько ресторанов, аптеку, мясной рынок. Сырой запах океана. Еще был какой-то разговор, но не могу вспомнить, что в нем было сказано. На каждом воспоминании дым и тень. Единственное, в чем я уверена, так это в лице мужчины, его большом лбу и остром подбородке. В его притяжении божественного существа. Прежде чем я могу вспомнить что-либо еще, яд возвращается волной розовой пены. Я падаю на пол, мои глаза затуманиваются.

Что-то маячит надо мной, когда я просыпаюсь во второй раз. Я задыхаюсь, грудь сжимается. Это подмигивающий человек, и он здесь, чтобы убить меня.

Не говоря ни слова, он наклоняется, хватая меня за рубашку и поднимает. На страшное мгновение я представляю,

как он бросает меня в бездонную яму, которая, должно быть, существует в этой комнате, но тут моя спина касается чего-то холодного и твердого. Я не более чем обмякшее существо, прислонившееся к стене.

– Дыши, – говорит подмигивающий.

Я стараюсь дышать. Два вдоха, один выдох. Я закрываю глаза и думаю о бабушке, которая считает удары, держа руки у меня на коленях. «Два вдоха, один выдох, Дайюй. Повтори».

– Где я? – требую я ответа. Мой голос хриплый.

Он не отвечает. Я слышу шорох, потом щелчок. Помещение наконец озаряется светом. Это не подземелье, которое я себе представляла, а комната, очень похожая на ту, что была у меня дома. Я вижу стол, стул, ноги под собой, дверь. Надо мной квадратное окно под потолком, закрытое наклеенными газетами. Комната не маленькая, но кажется, что она неуклонно сжимается вокруг меня и подмигивающего мужчины, подстраивая свой размер под нас. Мы единственное, что имеет значение.

Подмигивающий мужчина становится на колени с фонарем в руке. Он не бессмертный дракон, который стал стражем, обратившись человеком и придя спасти меня. В свете фонаря его лицо кажется сотканным из огня.

– Хочу домой, – говорю я ему.

– Как тебя зовут? – спрашивает он, игнорируя меня. Голос, который я помнила мягким и добрым, теперь звенит

опасностью. – Как тебя зовут? – снова спрашивает он.

Я молчу. Он шлепает меня тыльной стороной ладони. Когда костяшки пальцев касаются моей щеки, они издают звук, похожий на вспышку.

– Фэн, – шепчу я. Я заставляю себя не плакать.

– Хорошо, – улыбается он. – Сколько тебе лет, Фэн?

Я боюсь того, что он сделает со мной, если я скажу ему.

– Будем считать, что четырнадцать, – отвечает он на мое молчание. Свет фонаря мерцает. – Ты Фэн, сирота, тебе четырнадцать. И тебе всегда будет четырнадцать.

Теперь он стоит, глядя на меня сверху вниз.

– Отпустите меня домой, – говорю я. Мне кажется, что, если я буду умолять изо всех сил, он может снова превратиться в того доброго человека, который спас меня на рыбном рынке. Но он этого не делает. Вместо этого он прикладывает палец к губам и начинает уходить. С каждым шагом свет от фонаря сжимается, комната вокруг меня медленно исчезает. Когда он стоит у двери, все, что я вижу, это слабый желтый шар.

– Пожалуйста, – зову я, не зная, что последует, но зная, что будет хуже. Я снова говорю ему, что хочу домой. Желтый шар вздрагивает.

– Сирота Фэн, – говорит он, – нам предстоит долгий путь, прежде чем мы вернемся домой.

8

Иероглиф «черный», #, можно представить состоящим из трех частей: «рот», «огонь» и «земля». Рот поверх земли. Кончик земли рассекает рот на две части. Под ними – огонь.

Но рот ведь розовый. Земля – коричневая. Огонь – это свет. Когда я впервые выучила этот иероглиф, то не могла понять, почему эти три части создают черный цвет.

– Если ты этого не знаешь, – сказал мне наставник Ван, – то никогда не сможешь написать иероглиф так, как он должно быть написан.

Когда подмигивающий человек ушел, он забрал с собой фонарь. И я думаю, что наконец-то поняла, почему эти три символа объединились, чтобы создать иероглиф для черного цвета. Сидя сейчас в этой черноте, я вижу себя внутри разинутого рта, в одном вздохе от падения в адское пламя земли. Я пишу «черный» пальцем, и хотя ничего не вижу, я знаю, что на этот раз я наконец написала иероглиф так, как он должен быть написан.

Черный: так исчезает время, а на его месте появляется нечто другое. Одиночество.

Я пытаюсь вспомнить: сколько времени прошло с тех пор, как меня похитили? Тогда был полдень – теперь, должно быть, ночь. Я даже не уверена, что это тот же самый день и

та ночь, которая за ним последовала.

В темноте я притягиваю колени к груди и сжимаю локти. Если позволить страху одолеть меня, я никогда не найду дорогу назад. Ищи что-то настоящее, говорю я себе. Держись и не отпускай.

Красное здание с крышей цвета арахиса. Фонтан во дворе, укроп в саду. Нетерпеливые голоса учеников, выкрикивающих ответы. Наставник Ван читает лекцию о том, как оставлять пустоту в ладони. Наставник Ван, мой настоящий спаситель.

Я зажмуриваюсь и умоляю его прийти за мной в эту комнату. Я умоляю его вывести меня из нее.

Что он подумает, если я не появлюсь на следующее утро? Станет ли он беспокоиться или же он всегда знал, что так и будет – таинственный мальчишка, пришедший с улицы, двинется дальше по жизни, чтобы стать подлецом где-нибудь еще, а может, и умереть. Разве это имеет значение? Жизнь в школе будет продолжаться. «В каллиграфии, как и в жизни, мы не исправляем мазки, – часто говорил наставник Ван. – Мы должны признать: что сделано, то сделано».

Девочки постарше в моей рыбацкой деревне всегда рассказывали одну и ту же историю: за много лет до приезда моих родителей в деревне жила молодая девушка по имени Бай Хэ. Она была дочерью кузнеца, и кожа у нее была как стекло. Если вы видели Бай Хэ при дневном свете, казалось, что

ее кожа впитывает солнце. Ночью она затмевала луну. Когда она улыбалась, свет падал на вершины ее скул. Дочь кузнеца не могла иметь такую хорошую кожу, но Бай Хэ стала исключением. Она была благословлена некой чистотой. Соседи говорили, что на лице этой девушки живет свет звезд.

Когда Бай Хэ исполнилось двенадцать, в дом ее родителей принялись наведываться высокопоставленные мужчины из города. Новости об особенной девушке со стеклянной кожей распространились далеко, и все надеялись увидеть ее своими глазами. Деревенские девушки толпились под окнами, месили обувью грязь, желая мельком увидеть посетителей. Они знали фермерских мальчишек с перемазанными ртами, знали своих отцов и их грубые ладони. Но они никогда не видели таких могущественных людей, как эти.

Один за другим городские мужчины уверенно входили в дом Бай Хэ. Каждый их шаг был тверд, каждое движение заявляло: я ничего не боюсь. Это была уверенность комфорта, денег и хорошей жизни.

Во время этих визитов Бай Хэ заходила в гостиную с валью на лице. Тела городских мужчин напрягались в предвкушении, костяшки пальцев белели. «Кожа нашей дочери – единственная в своем роде, – говорили ее родители, обращаясь к присутствующим. – Вы никогда не видели ничего подобного. Такая кожа, безусловно, подарок от бессмертных свыше».

Они все лили и лили речи перед городскими мужчинами

и Бай Хэ, пока не начинало казаться, что вуаль никогда не спадет. Соседские девушки на улице нетерпеливо скулили, вцепившись руками в подоконник. Кого же выберет Бай Хэ? Как же выглядит настоящая любовь?

Затем речи, наконец, прекращались. Бай Хэ поднимала свою вуаль, обнажая лицо из стекла. Девушки на улице смотрели с завистью. А комната замерла, мужчины упивались ею. Жемчужины океана можно назвать прекрасными, но ни одна из них не была так прекрасна, как ее лицо.

Все девушки в деревне знали, что она отправится в такие места, в которых ни одна из них никогда не побывает. Рядом с ней их кожа была тускла и ряба. Им придется просить у мира милости. Но он лежал у ног Бай Хэ. Увидев то, что они увидели в тот день, некоторые девушки поклялись есть один лишь белый рис. Другие решили, что вырвут волосок с головы Бай Хэ. Все они верили, что должен быть способ украсть магию, жившую в ее теле.

На следующее утро деревня проснулась от криков. Родители Бай Хэ бегали от двери к двери в ярости и истерике. «Нашу Бай Хэ украли, – кричали они. – Кто-то похитил ее ночью».

Деревня не отзывалась. Девушка со стеклянной кожей исчезает, что тут поделать? «Впустишь в свой дом столько мужчин, и тебе грозят неприятности», – говорили они. «Возможно, это цена за ее стеклянную кожу», – говорили другие. Они заперли двери и занавесили окна одеялами, чтобы не

слышать горя ее родителей. Не уподобляйтесь Бай Хэ, предупреждали они своих дочерей. Не пытайтесь быть красивыми. Видите, что это принесет вам?

История Бай Хэ служила просто страшилкой для девушек в нашей деревне. Я знала это. Но даже в этом случае я радовалась тому, насколько мало я похожа на нее. У меня была голова в форме яйца и глаза, из-за которых я выглядела вечно усталой или заплаканной. Мое лицо часто принимало серьезное выражение. «В тебе есть серьезность, – говорила моя бабушка, – которая сопровождает каждое твое движение».

Лучше выглядеть как угрюмый мальчик, чем как девушка со стеклянной кожей. Бай Хэ украли, потому что она слишком выделялась. А я никогда не выделялась.

До этого момента.

Снова при воспоминании о рыбацкой деревушке, домике с тремя пролетами и, наконец, о родителях накатила старая тоска. Жуткая тишина их пустой спальни. Затихший ткацкий станок. Момент, когда огромная потеря пронзила меня насквозь, и ничто, даже 36 501 камень, не могло бы заполнить пропасть, которую она оставила. Почему вы исчезли? Почему не взяли меня с собой? Вам было легко покинуть меня? Иероглифы проносятся мимо, как в огне: обман, предательство, потеря. И наконец, стыд. За этот гнев, за эти обвинения. За то, что вообще приходится прощать. Что бы ни заставило их уйти, это не их вина. Я должна поверить в это. Я должна держаться за это, иначе никогда не выберусь из от-

чаяния. Я прижимаюсь спиной к холодной стене, когда эхо яда возвращается. Черный: так тоска может прожечь дыру в легких.

Когда я снова просыпаюсь, то понимаю, что со мной в темноте есть что-то еще. Я уверена в этом. Оно бродит по комнате, скользит вверх и вниз по стенам, просачивается сквозь грязный пол. Мне нужно сесть и посмотреть, но тело как доска, жесткая и тяжелая. Моргни, говорю я себе. Теперь подними руку. Рука не двигается. Что бы это ни было, оно приближается. Я чувствую, как его дыхание пробегает по моему телу: покалывание начинается от пальцев ног и доходит до пупка. Теперь оно прямо надо мной, смотрит вниз, злорадствуя над моей неспособностью сражаться. Я смотрю вверх, мои глаза шарят во тьме, которая придает этому созданию силу.

Пошевелись, хочу закричать я. Но мой крик в ловушке, как и все остальное тело.

Я говорю себе, что у меня начались видения. Что это темнота свела меня с ума. Что это яд играет свою роль. Но еще я знаю: что бы это ни было, оно преследует меня уже очень долгое время.

– Линь Дайюй? – спрашиваю я у темноты. Она не отвечает, но я знаю, что угадала.

Рано утром свет проникает в комнату через заклеенное окно. На одно теплое мгновение я уверена, что нахожусь в своей старой комнате, а мои родители и бабушка уже проснулись и ждут, когда я присоединюсь к ним за завтраком. Счастье, настоящее счастье. Мои руки поднимаются и вытягиваются, я так близка к тому, чтобы ухватить этот восторг. Все это было ночным кошмаром. Я в безопасности. Я дома.

Я открываю глаза. Комната возвращается в фокус. Стол и стул все еще на месте, мой тюфяк все еще здесь, грязный пол такой же холодный и неумолимый, как прежде. Мой восторг испаряется. Я, как и все остальное, все еще здесь.

Открывается дверь, рука толкает поднос. «Подождите», – плачу я. Дверь захлопывается прежде, чем я успеваю произвести что-то еще. Я подползаю к подносу и смотрю в миску с кашей. Каша исчезает за один быстрый глоток. Доползаю до своего тюфяка, странным образом мой желудок кажется еще более пустым, чем прежде.

Дверь открывается, и та же рука забирает поднос. Я открываю рот, чтобы снова закричать, но прежде чем успеваю это сделать, в комнату входит женщина.

Она несет трость и мешок. Ее волосы цвета белого сена. Крик застревает в моем горле. Где бы я ни оказалась, тут не может быть так плохо, раз здесь есть бабуля, рассуждаю я.

Я жду от нее доброты и тепла, но она мне их не дает. Вместо этого ее белесые глаза скользят по мне, и я понимаю, что я не более значима, чем какая-нибудь собака. Она холодно сообщает, что она здесь ради того, чтобы научить меня английскому языку. Потом она указывает тростью на стул, и я понимаю, что должна сесть.

Из своего мешка она достает книгу и кладет ее на стол. Внутри напечатаны незнакомые мне символы – одни угловатые, другие округлые и толстые. Женщина произносит звуки, которые, как я позже узнаю, называются буквами, каждая из них тоненькая, как иголка.

– Теперь ты, – говорит она, ее трость парит над моей головой.

– *Эй*, – пробую я. – *Би. Си. Ди. Иии.*

Мой голос дрожит. Женщина велит мне повторить заново. Я издаю звуки, наблюдая, как ее трость опускается с каждой буквой.

– *Эф. Джи. Эйч. Ай.*

Мы движемся в ритме, трость и я.

Когда много часов спустя она уходит, а ночь окрашивает комнату в лиловый и серый цвета, я сжимаюсь в клубок, звуки звенят друг о друга в моей голове.

Где-то там ждет невидимая Линь Дайюй, наблюдает за мной.

– Что ты знаешь об английском языке? – спрашивает ста-

руха.

– На нем говорят на другой половине мира, – отвечаю я ей. Я представляю корабли, дым, рельефные белые лица с волосами цвета осенних листьев.

Английский алфавит, рассказывает старуха, ограничен. Двадцать шесть букв, каждая по-своему закована, каждая со своим набором правил. Думай о них, как о взрослых. Думай о них, как о людях в возрасте. Соединяй их вместе в определенной последовательности, чтобы получилось определенное слово.

Это должно быть просто, думаю я. Но первое препятствие – это звуки. Буквы звучат не так, как слова, которые они образуют, и существует множество их комбинаций, которые следует учитывать. Каждая комбинация рождает другой звук, другой смысл. Английский алфавит ограничен, но его возможности безграничны и иррациональны.

V: поместить два передних зуба на нижнюю губу и подуть.

Th: засунуть язык между зубами и погудеть.

Tr: стиснуть зубы и дышать.

Dr: то же самое, но со звуком.

St: Шипение и остановка, твердо.

Pl: Как будто изображаешь фыркание лошади.

В китайском языке каждый слог важен, ему нужно придавать такое же напряжение и вес, как и окружающим. Но в английском языке для каждого слова и всех звуков в этом слове есть иерархия. Самые важные звуки произносятся энергич-

но, в то время как неважные стиснуты между ними, сокращены и спрятаны. Это своего рода музыка – каждое предложение имеет определенный ритм, каждое слово – свой собственный метроном. Кажется, английский язык – это время и хаос.

Я представляю каждое слово как детские качели, не зная, на какую сторону упадет вес. Одна сторона всегда будет тяжелее другой. Сложность в том, как решить, какая.

Один раз в день мы прерываемся на обед, он всегда состоит из приготовленного на пару *маньтоу* и сушеных анчоусов, и то и другое настолько твердое, что у меня расцарапано нёбо. Вне уроков старуха для меня не существует – она становится английским языком, а английский становится ею.

И так каждый день.

– Вы не знаете, смогу ли я вернуться домой? – спрашиваю я.

– Вы не знаете, чего он хочет от меня? Почему я должна учить английский?

Он – это, конечно же, подмигивающий мужчина, которого я не видела с того дня, как меня похитили. Я начинаю задаваться вопросом, реален ли он вообще, или он мне приснился, а я каким-то образом сама себя завела в это место. Возможно, говорю я себе в минуты отчаяния, так и должно было случиться.

Каждый день старуха делает вид, что не слышит моих вопросов. Вместо этого она издает звуки, а затем объясняет

мне, что они означают. Я запоминаю слова, вызываю в воображении их образы в темноте. КОТ: оранжевый и одинокий. ПОВОЗКА: сосед Ху. ВЕТЕР: Фэн, мальчик, рожденный ветром.

В самые одинокие моменты я вывожу английские буквы на грязном полу. Рядом с ними я пишу китайские иероглифы, соответствующие их звучанию. Больше всего меня озадачивает английская буква I. Соответствующий звук в китайском языке означает «любовь». А по-английски «I» – это «я». Любовь, #, по-китайски означает сердце, которое суждено отдать. «Я» по-английски – это независимая личность. «Любовь» по-китайски – это отказ от себя ради другого. Как забавно, думаю я, что эти два звуковых близнеца представляют такие разные понятия. Это еще одна правда, которую я узнаю об английском языке и людях, которые его создали.

Чтобы отмечать каждый проходящий день, которые я отсчитываю по приходам и уходам старухи, я царапаю на стене линии. Я провожу по ним пальцами, прижимаюсь лицом к дереву, пока не убеждаюсь, что отметины впечатались в кожу щеки. Однажды, когда я делала это, мне показалось, что я услышала, как что-то царапается по ту сторону стены, как будто кто-то с другой стороны делал такие же отметки.

На стене пятьдесят отметок, когда мы начинаем читать и составлять предложения.

В английском множественное число и время имеют зна-

чение. Нельзя говорить о действии, не говоря также о том, когда оно произошло. Прошлое, настоящее или будущее могут определить все. Это самая сложная часть. Недостаточно сказать, что кто-то тебе что-то дает, говорит мне старушка. Нужно выразить, когда это происходит. Все укоренено во времени. Скажи «даю». Скажи «дает». Скажи «дано». Скажи «дал».

«Давать». «Дает». «Данный». «Давал». Я хочу спросить ее, в чем причина. Почему это так важно в английском, но не в китайском? Какое значение имеет время?

Китайский иероглиф «время», 日, включает в себя символ «солнце», который отображает четыре времени года. Наставник Ван говорил мне, что в Древнем Китае время отсчитывалось по положению солнца на небе. Этому иероглифу присуще понимание, что время движется по кругу, что независимо от того, как быстро движется солнце, оно всегда будет возвращаться снова. В английском языке слово «время», time, состоит из четырех букв. Что-то конечное, состоящее из неизменных букв. Может быть, в этом и есть разница, думаю я. Для тех, кто говорит по-английски, время ограничено. Вот почему им так важно различать прошлое, настоящее и будущее.

Когда я осознаю это, я понимаю, что смогу идеально определять время всю оставшуюся жизнь – на обоих языках.

Так я начинаю понимать английский язык.

– Ты готова, – говорит мне однажды старуха.

Я спрашиваю:

– Для чего?

Она не отвечает. Когда она уходит той ночью, я ошупываю свои отметки на стене. Здесь время важно. Например, сколько времени прошло?

Триста восемьдесят отметок под моими пальцами. Триста восемьдесят дней с тех пор, как я впервые начала считать, с тех пор, как пошла на рыбный рынок в поисках вкуса океана и тарелки лапши, которая мне так и не досталась. Деревья, должно быть, опять стоят в листьях, трава, должно быть, снова зеленая. Снаружи море, должно быть, бушует. В школе наставника Вана будут открыты все окна, чтобы выгнать запах застарелой туши. Сколько недоеденных яблок валяется во дворе после нового поколения учеников? Фонтан с драконами, веселый и бурлящий.

Я испускаю всхлип, затем сдерживаю его – звук вышел отвратительный и безнадежный. Прошел целый год. Время важно, это я знаю теперь. Например, сколько времени должно пройти, чтобы все забылось?

На следующую ночь в мою комнату заходит подмигивающий мужчина.

– Как дела, маленький племянник? – спрашивает он, зажигает фонарь, и оранжевый свет заливает его лицо. Мы оба знаем, что между нами триста восемьдесят один день.

Я научилась верить, что подмигивающий человек был отвратительным существом с множеством голов и языком из пламени. Но он все тот же высокий, грациозный незнакомец, который нашел меня на рыбном рынке. Единственное, что изменилось – это небольшой шрам под правым глазом. Я раздумываю: если бы я увидела его на улице, пошла бы я за ним снова? Именно это пугает меня больше всего. Даже сейчас я так и не знаю, кем он может оказаться.

Он подходит ближе, становится передо мной на колени и подносит фонарь к моему лицу. Свет такой яркий, что мне приходится отвернуться. Он водит фонарем вверх и вниз, отмеряя длину моего тела.

– Ты маленькая для своего возраста, – говорит он, обращаясь не совсем ко мне. – Хорошо для тесных пространств.

Он снова садится на пятки.

– Знаешь, почему мы учим тебя английскому, сирота Фэн?

Я думаю, что знаю: кажется, я начала догадываться. Но я

не отвечаю. Не хочу открываться ему снова.

– Отныне, – говорит подмигивающий, переходя на английский, – ты будешь говорить только по-английски.

Воздух между нами сжимается. Я киваю.

– Как давно ты в Америке? – спрашивает он.

– Я никогда не бывала в Америке, – говорю я на своем новом языке. Слова змеятся вокруг, сближая нас.

– Бывала, – мягко возражает он. – Ты живешь в Америке пять лет. Ответь мне еще раз.

– Я живу в Америке пять лет.

Он протягивает мне бумагу и предмет, который не является кистью для каллиграфии, а представляет собой тонкий цилиндр с заостренным концом. Я держу его так, как держала бы кисть, рука кажется большой и неуклюжей из-за того, что он такой короткий.

– Запиши, – говорит он. – Меня зовут Фэн. Мне четырнадцать. Я живу в Америке уже пять лет. Мои родители владели лапшичной в Нью-Йорке. Они умерли. Я приехал в Сан-Франциско, чтобы работать в лапшичной.

Я делаю, как он мне велит. Я не знаю, как пишется Сан-Франциско. Подмигивающий мужчина берет бумагу и ручку и пишет это слово за меня. Буквы на листе похожи на длинного чешуйчатого дракона.

– Запомни это, – говорит он. – Повторяй это. Выжги это в своем мозгу. Это то, что ты будешь говорить, если наши планы пойдут наперекосяк.

– Можно мне обратно домой? – спрашиваю я. Он встает, его колени по очереди хрустят.

– О да, – говорит он. – Ты очень скоро будешь дома.

– Я знаю, что у вас здесь есть такие же, как я, – говорю я. Это не вопрос, а утверждение.

Звуки царапания по моей стене были настоящими, визги, которые я слышала, когда дверь открывалась и закрывалась, были настоящими. Мир, существующий за пределами моей комнаты, – это мир, в котором я не так одинока. Он поворачивается ко мне, его лицо непроницаемо. На мгновение я думаю, что наконец поставила его в тупик. Но затем его рот кривится, и он грозит мне пальцем, его длинная тень устрашающе пляшет по стенам.

– Возможно, есть и другие, – говорит он. – А может быть, ты совсем одна.

Он уходит. Я моргаю в темноте, пытаюсь понять, что все это значит.

Ночью мне снится сон. Или это воспоминание? Ко мне приходит Линь Дайюй, и я наконец вижу ее при свете. Она маленькая, худенькая, похожа на птичку. Я тянусь к ней. Впервые я рада ее видеть.

– Скажи мне, что делать, сестренка, – умоляю я. – На этот раз я последую за тобой.

Она разворачивается и уходит от меня, ее волосы развеваются на ветру. Я бегу за ней, зову. Но я кричу по-англий-

ски и знаю, что она меня не понимает. Я пытаюсь вернуться к китайскому, но слова меняются во рту прежде, чем я успеваю их остановить. Я хочу спросить ее, как сбежать из этой тюрьмы, как отделаться от подмигивающего человека. Я хочу, чтобы она привела меня к той свободе, которую обрела она сама, той, что существует только в смерти. На каждый мой шаг она делает два, как будто она ускоряется, а я замедляюсь.

– Линь Дайюй, – зову ее я, мои ноги дрожат. – Ты отвернешься от своей сестры?

И тут она останавливается. Поворачивается ко мне лицом. Линь Дайюй, которую я вижу, похожа на меня, но при этом не похожа на меня. У нее не мои карие глаза, они голубые. Ее нос кончается ниже, чем мой. Ее губы гладкие и розовые, как у рыбы. Моя Линь Дайюй открывает рот, но из него ничего не выходит. Вместо этого из ее ноздрей, из уголков глаз, из ушей сочится кровь. Кто-то кричит. Я понимаю, что этот кто-то – я. Когда я просыпаюсь, моя рубашка прилипла к груди, как мокрая пленка. Мое тяжелое дыхание разрезает темноту.

– Ты здесь? – шепчу я. – Почему ты не поможешь мне?

Комната пуста. Линь Дайюй не может мне сейчас помочь, как никогда не помогала и раньше. Она никогда не была настоящей, говорю я себе, но я-то настоящая. Как бы мне хотелось, чтобы в этот раз мы поменялись местами.

На следующий вечер дверь снова открывается, но на этот раз не закрывается. Входят трое мужчин. Они сутулые и крепкие, их тела по форме как небольшие валуны. Подмигивающий человек следует за ними, держа фонарь.

Он велит мне встать. Я подчиняюсь, у меня скрипят суставы. Теперь я провожу большую часть дня сидя, и в положении стоя у меня болят ноги. Он протягивает мне сверток с чем-то сложенным и мягким.

– Надень это, – говорит он. Свет его фонаря напоминает мне полную луну, которая кажется такой большой и тяжелой, что может упасть с неба. Какое-то дикое мгновение я раздумываю, что произойдет, если я сброшу этот фонарь на землю и разобью его внутренности – что, если я смогу поджечь это место и забрать его с собой.

– Давай, – говорит подмигивающий человек. Трое мужчин позади него потирают кулаки. Я делаю, как мне велят, стягивая промокшую рубашку с туловища. Потом штаны. Я легко выскальзываю из них, наблюдая, как они падают на землю.

Обнажившись перед ними, я осматриваю свое тело. Прошло много времени с тех пор, как я видела себя при свете. Два небольших холмика плоти на груди, обе вершины покрыты ржавчиной. Решетка грудной клетки натягивает кожу на торсе. Живот, маленький и мягкий, обвисает, обрам-

ленный острыми тазовыми костями. Я едва вижу верхнюю часть своих бедер. Ноги – единственная часть меня, которая выглядит большой, как будто они должны принадлежать кому-то намного крупнее меня. Но они прежнего размера. Это остальные мои части сжались вокруг них.

Мои руки инстинктивно двигаются, чтобы прикрыть самое сокровенное. Накатывает новый страх, о котором я думала со дня похищения.

У подмигивающего мужчины бегают глаза.

– Будет еще время откормить тебя позже, – говорит он. Он указывает на сверток с одеждой. – Теперь надень это.

Одежда внутри вся черная и слишком велика мне. Надев ее, я еще меньше ощущаю свое тело, чем раньше. Теперь подмигивающий мужчина приказывает мне встать перед ними на колени. Я подчиняюсь, колени оказываются в грязи.

Один из трех мужчин делает шаг вперед с ножницами. Я сжимаюсь.

– Не двигайся, – предупреждает он. Он встает позади меня и берет прядь моих волос, тусклых от грязи, теперь достаточно длинных, чтобы доставать до подбородка. Он скользит сквозь них ножницами. Я слышу щелчок. Когда я смотрю вниз, то вижу на полу черную прядь. Передо мной проносится лицо моей матери. Я призываю ее отвести взгляд.

Щелк-щелк-щелк – продолжает человек с ножницами. Еще больше черного падает на пол. Каждый раз, когда это происходит, лицо моей матери немного тускнеет, потом я

больше не могу ее видеть. Когда человек с ножницами заканчивает, он возвращается и встает рядом с подмигивающим.

– Как тебя зовут? – спрашивает меня тот.

– Фэн, – отвечаю я на автомате.

– Откуда ты?

– Нью-Йорк.

– Где твои родители?

– Умерли.

– Зачем ты здесь?

– Буду работать в лапшичной.

– Хорошо, хорошо, – говорит подмигивающий мужчина с улыбкой на губах. – Теперь, Фэн, ты действительно готов. – Он кивает троим подчиненным, которые выходят из комнаты. Почесывает шею. Затем обращается ко мне:

– Ты когда-нибудь была с мужчиной, племянник?

Вот оно, думаю я: вот то, чего я ожидала. С того момента, как подмигивающий мужчина похитил меня, это было моим пунктом назначения. Я видела, как по ночам дерутся собаки, слышала, как воют кошки, словно с них живьем сдирают шкуру. Сын хозяина яблочной фермы с дымчатыми глазами, который однажды последовал за мной за мельницу и положил руку мне на живот. Кровь, закипевшая от его прикосновения.

Теперь я представляю подмигивающего мужчину, как он раскачивается на мне: его маслянистые глаза вонзаются в мои, а усы на верхней губе царапают мою кожу. Его неже-

ланная тяжесть.

– Нет, – говорю я ему, молясь, чтобы на этом все закончилось.

Как будто прочитав мои мысли, он ухмыляется.

– Я говорю не о себе, племянник. Я говорю о белых мужчинах. Знаешь, что нравится белым мужчинам?

Образ подмигивающего на мне исчезает, сменяясь на мужчину с льняными волосами, которого я видела возле иностранной почты в Чжифу. Он вздрагивает и хрюкает. Его живот обволакивает мой, и он поглощает меня, мое тело больше не мое, оно стало частью его. Я качаю головой: нет, нет, нет.

– Ты этому научишься, – говорит подмигивающий мужчина. Он трогает лацкан своего костюма. – Они тебя научат. Белые мужчины будут рады потратить на тебя деньги. Они любят маленьких, как ты. Станешь моей лучшей девушкой? Думаю да. А теперь подойди и позволь мне взглянуть на тебя.

Я встаю и медленно иду к нему. Я не могу перестать думать о том, что он только что сказал. Они, сказал он. Маленькая, сказал он. Деньги, сказал он. Все это ложится передо мной, как пепел.

Вблизи он напоминает лису. Шрам под глазом смахивает на травинку. Без предупреждения он щиплет меня за щеку одной рукой. От его прикосновения все в моем теле замирает. Я чувствую, как сердце протестует, как бьется кровь.

– Будешь вести себя хорошо?

Я киваю, стараясь не кусать щеки там, где они прижаты к зубам. Он отпускает меня и достает что-то из кармана.

– Закрой глаза, – приказывает он.

Я чувствую, как он натирает мне чем-то лицо и шею. Пахнет дегтем. Он разворачивает меня и продолжает натирать мне плечи.

– Руки, – говорит он.

Я поворачиваюсь и протягиваю ему руки. Он втирает какую-то субстанцию – она, как я теперь вижу, черная – в мои ладони, проводит по ногтям, промазывает между пальцами. Это действие напоминает мне зимы, когда бабушка растирала мне руки после того, как я слишком долго пробыла на улице. Она крутила мою руку в своей, словно пыталась разжечь огонь, пока каждая рука не становилась красной и горящей.

Но это не мой дом, и этот мужчина не моя бабушка. И не наставник Ван, который сказал мне, что однажды мои руки сделают меня знаменитой.

Мои руки падают вдоль тела.

Трое мужчин возвращаются, неся большую корзину высотой до бедер.

– Все готово, Джаспер, – говорит один из них подмигивающему. Я смотрю на ведро, и пещера в моей груди становится глубже.

– Думаю, ты знаешь, что делать, – говорит подмигивающий мужчина по имени Джаспер.

Я знаю. Я знаю, что больше ничего не могу сделать. Между вечным прозябанием в этой тюрьме или корзиной, которая должна привести меня к чему-то еще, я выбираю корзину.

Я иду к ней. Вблизи она намного больше, и я не могу перелезть через ее край. Один из мужчин становится передо мной на колени, связывая запястья и лодыжки веревкой. Закончив, он встает и засовывает ладони мне под мышки, поднимая меня вверх. Я болтаюсь как тряпичная кукла в его руках. Он бросает меня в корзину. Я могу в ней поместиться, если буду сидеть, прижав колени к груди. Внутри пахнет гарью, дымом.

Надо мной появляется голова Джаспера, он смотрит на меня сверху вниз.

– Не двигайся, не издавай ни звука, – говорит он. Еще один звук перетаскивания и звяканье. – Опустит голову, – говорит он.

Миллион каких-то кусочков начинает наполнять корзину. Я осмеливаюсь посмотреть – это маленькие угольки, острые и по форме напоминающие леденцы. Они вклиниваются в пустоты между моими конечностями: сначала скапливаются вокруг ступней, затем медленно поедают ноги, талию, затем руки и грудь, пока я не чувствую, что они прижимаются к моему горлу. Когда поток прекращается, я не могу пошевелиться. Если бы кто-нибудь заглянул в ведро, то увидел бы не меня, а черное пятно на фоне угля.

– Мне тяжело дышать, – говорю я Джасперу. Уголь позвякивает от моего голоса. Он ничего не отвечает, но наклоняется и накидывает мне на шею веревку с маленьким холщовым мешочком. Мешочек тяжелый, он пахнет свежестью и прохладой, как мята. Моя грудь раскрывается, как будто кто-то залез мне в рот и вдохнул в него воздух.

– Внутри особый камень, – говорит Джаспер. – Он поможет тебе дышать. И поможет тебе думать обо мне.

Я вдыхаю мятно-травянистый запах из мешочка и ненавижу его.

– Если услышишь стук, – говорит он мне, – это означает, что крышка будет открыта. Держи голову опущенной. Если, когда ты приедешь, тебя каким-то образом поймают власти, будешь повторять то, что я тебе сказал. Если попытаешься сбежать – умрешь. Если издашь хоть звук – умрешь.

Как будто это не смерть.

Последним Джаспер засовывает мне в рот кусок ткани и перевязывает его веревкой. Он отстраняется, чтобы осмотреть свою работу, все еще держа пальцы на моей щеке. Прежде чем я понимаю, что произойдет, он бьет меня головой о край корзины. Я кричу, но тряпка во рту заглушает крик. Джаспер выпрямляется, он выглядит довольным.

– Они готовы, – говорит один из мужчин сверху. Я слышу громкий стук и вижу круглую крышку на краю корзины. Мужчины рычат. Крышка надо мной становится все больше и больше, закрывая свет.

Голова Джаспера появляется вновь в той полоске пространства, что еще осталась. Он смотрит на меня, на мое погребенное и маленькое тело, на мое зачерненное лицо, на белки моих глаз – единственное, что отличает меня от угля.

Такова переписанная история: однажды высокий мужчина замечает девочку, притворяющуюся мальчиком, посреди рыбного рынка. Ему легко догадаться, что она голодна, по тому, как поджато ее тело. В нем самом тоже прячется голод, который он умеет скрывать. Только глаза его выдают. На этот раз девочка, притворяющаяся мальчиком, замечает этот голод. Когда она поворачивается к нему в солнечном свете, она видит правду и убегает. Мужчина уходит с пустыми руками. Девочка идет домой.

Теперь я смотрю в эти глаза со дна корзины. «Искусство отражает тот разум, что его создал», – сказал мне однажды наставник Ван. Тот, кто создал глаза Джаспера, знал, что следует оставить намек – нечто такое, что можно заметить, если прищуриться. Он там был. Он всегда там был. В тот день на рыбном рынке я просто не знала, что именно нужно искать.

Его зовут Джаспер, и он похитил меня. Я хочу произнести его имя, я хочу произнести его так, чтобы он знал то, что знаю я: что в середине его английского имени есть китайский звук, означающий смерть и умирание.

Но уголь сжимает меня, сдавливая мой голос.

– Увидимся в Америке, племянничек, – говорит Джаспер, подмигивая в последний раз.

Крышка захлопывается.

Часть II

Сан-Франциско, Калифорния

1883

1

Мужчина за окном уже делал это раньше. Его шляпа низко надвинута, затеняя нос, но все еще видна сжатая линия губ, и рот влажный. Это говорит о том, что ему не привыкать к тому, что он собирается сделать. Это говорит о том, что он точно знает, чего хочет и как этого добиться.

Мужчина поднимает искривленный палец. Мы выпрямляемся по стойке «смирно». Палец шевелится в воздухе, затем перебирает и перелистывает что-то, словно ища забытое воспоминание. Когда он проходит мимо нас, мы вздрагиваем, каким-то образом ощущая тепло прикосновения сквозь стекло.

Потом он останавливается.

Пауза, затем подтверждение. За окном мы вдыхаем как единое целое. Каждая из нас считает, что он указывает на нее.

Однако он хочет не нас. Ему нужна Ласточка, девушка слева от меня. Когда мы это осознаем, то успокаиваемся. Но

не Ласточка. Она улыбается мужчине и склоняет голову, но я чувствую, как ее тело напрягается от осознания, которое начинается в плечах и тянется вниз через все остальное.

– Вон, – командует охранник сзади.

Мы выходим из смотровой комнаты одна за другой, наши шелковые платья шелестят при каждом шаге. Мы выстраиваемся в главной комнате, и тогда входит мужчина с улицы. Он смотрит на Ласточку так, словно знает о ней все, знает все о нас.

Мне следует держать голову опущенной, но я не могу перестать смотреть. Ласточка улыбается мужчине застенчивой, сдержанной улыбкой, ее тело уже превращается в то, что нужно отдать, в то, что ей не принадлежит. Как обычно, откуда-то спускается тень в форме колокола. Это госпожа Ли, и она здесь, чтобы подвести Ласточку к мужчине, чьи глаза блуждают по ее телу. Как голодный пес, думаю я.

– Хороший выбор, – говорит госпожа Ли. Голос у нее низкий, бархатистый. – Хотите посмотреть поближе?

Мужчина хмыкает, затем кивает.

– Покрутите перед нашим клиентом, – говорит она Ласточке. Ласточка крутится перед всеми нами: первыми начинают движение ее бедра, затем плечи, затем стройная линия ее шеи, неприкрытой и сочной. Ее заколотые волосы блестят на голове, как ночная река. Она сделала макияж нежно-сливовым и с золотыми нотками, а ее губы красные, как вино. В шелковых голубовато-сиреневых брюках и шелковой рубаш-

ке, расшитой цветами, она могла быть принцессой, которую нарядили перед сватовством.

– Итак, – говорит мужчине госпожа Ли теперь уже жестким, настойчивым тоном. – Вы берете ее?

Мужчина облизывает губы, его язык острый и бледный. Он лезет в куртку и достает пачку денег, которую госпожа Ли принимает обеими руками. Затем мужчина хватается Ласточку за руку. В их руках ее ладошки всегда выглядят особенно маленькими.

Мы опускаем головы, пока они поднимаются вверх, в спальни. Затем госпожа Ли поворачивается к нам, быстро раздувая ноздри.

– Остальные, – говорит она, ее голос снова медленный, мелодичный, но смертоносный, – должны вернуться на свои места.

Итак, мы снова возвращаемся в маленькую смотровую комнату с окном, выходящим на улицу.

Девушек вокруг меня выбирают одну за другой. Одна за другой они кружатся перед мужчинами, и мужчины кивают, передают деньги госпоже Ли и ведут их наверх. Охранники стоят и наблюдают, так происходит каждую ночь. Я не знаю их имен.

Медленно, девушка за девушкой и мужчина за мужчиной, потолок тяжелеет от их толчков и стонов.

К концу ночи остались только я и две другие девушки. Одна из них – Нефрит, девушка постарше, вокруг рта у нее

образовались морщины от того, как часто она кусает губы. Она здесь давно, может быть, дольше всех. Сегодня уже четырнадцатый день подряд у нее нет клиентов, хотя когда-то она была главной девушкой борделя. Другие думают, что это как-то связано с растущим вздутием ее живота и с тем, что она перестала истекать кровью каждый месяц.

– Мне сейчас так нужна работа, – ноет она. – Куда пропали все мужчины? Они не знают, чего им нужно.

Другая девушка по имени Жемчужина просто плачет, закрывшись руками. Ее единственный клиент сегодня не пришел, хотя обещал.

Звуки девушек над нами образуют симфонию. Некоторые из них – низкие и гортанные. Другие визгливые, как собаки. Некоторые словно поют. Фоном звучит гул мужчин, иногда ярость и крики, а затем толчки, яростные толчки, которые, кажется, продолжаются без остановки. Когда я впервые попала сюда, то ненавидела этот шум. Теперь мне приходится напрягаться, чтобы вообще его услышать.

– *Та ма дэ*, – ругается и сплевывает Нефрит, – меня выгонят, если я не найду клиента в ближайшее время. – Она поворачивается к Жемчужине, чей плач становится только громче. – О чем ты плачешь, девочка? По крайней мере, у тебя есть тот, кто приходит с толстым кошельком.

Один за другим мужчины снова появляются на лестнице, поправляя одежду, расчесывая волосы, надевая шляпы. Я не могу смотреть на них, на их ненасытные лица, на то, как они

ведут себя, словно участвовали в битве и победили. А теперь возвращаются на дневной свет, чтобы спрятаться на солнце.

– Приходите почаще, – говорит госпожа Ли каждому из них, ее губы искривлены в жеманной улыбке. Я сижу в углу комнаты с угрюмым лицом, и если кто-то из мужчин слишком долго смотрит на меня, отворачиваюсь.

Позже, когда солнце поднимается над заливом, госпожа Ли просит меня зайти к ней в кабинет, где она сидит за большим резным письменным столом из темного дерева. Кабинет небольшой, и кажется еще меньше из-за двух мужчин, охраняющих дверь, и присутствия госпожи Ли. Она крупнее женщин, которых я видела в Чжифу, но в ней нет округлости, только угроза.

– Что думаешь о работе прошлой ночью? – спрашивает она, покручивая сигарету между двумя пальцами, украшенными драгоценными камнями.

– Все хорошо, госпожа Ли, – говорю я. Однажды девушку выпороли за то, что она не назвала ее «госпожа». На следующий день мы видели кровь и гной через ее рубашку.

– Садись, – говорит она мне. – Сядь, и мы поговорим.

Опасность везде: и если я сяду, и если уйду. Я сажусь. Госпожа Ли долго затягивается. Она издает тонкий, едва уловимый звук, кончик сигареты вспыхивает оранжевым, прежде чем потухнуть до черного. Я представляю, что воздух вокруг нее ядовит, ее присутствие настолько смертоносно, что растения разлагаются, а цветы гибнут.

– Когда ты попала ко мне, – продолжает она, – ты была такой худой. Я могла бы поднять тебя двумя пальцами. А теперь погляди на себя. Здоровая девочка с хорошим румянцем и розовым языком.

– Я хорошо питаюсь и сплю благодаря доброте госпоже Ли, – говорю я без воодушевления.

– Да, – говорит она. – Да, именно.

Пауза, она делает еще одну затяжку. Я смотрю, как в пространстве между нами клубится дым.

– Снять помещение в этом городе недешево, – говорит она мне. – Иметь в своем распоряжении целое здание – ну, я сомневаюсь, что ты вообще можешь представить, сколько это стоит. Но благодаря великой щедрости *туна*⁶ «Радостный обряд» мы можем жить здесь в комфорте и покое. Как думаешь, Пион? Тебе нравится здесь жить?

– Да, – лгу я.

– *Тун* кормит нас. Он одевает нас. Он защищает нас. Да, они защищают тебя, Пион. Я защищаю тебя.

– Спасибо, госпожа Ли, – говорю я, опуская голову.

– Какая вежливая девушка, – говорит она. Без предупреждения она швыряет сигарету на стол, и та рассыпается в кучу пепла под ее пальцами. Вблизи видно, что кожа ее рук истончилась с возрастом, она морщинистая, как слой пенки

⁶ Также «*тан*» (буквально «зал»). Сообщества, которые учреждались китайскими эмигрантами, переселявшимися, в частности, в США. Основная цель их существования – объединение и защита этнических китайцев за пределами Поднебесной. Нередко такие сообщества могли быть связаны с преступностью.

на горячем молоке. Руки ее выдают: сколько бы пудры она на себя ни сыпала, мы всегда будем знать, что она может умереть, как и все остальные.

– Если девушка не зарабатывает денег, – продолжает она, – разве это честно? Если она ничего не делает в ответ на доброту *туна*, значит, она просто пользуется ею, не так ли? Как думаешь, Пион? Ты так хорошо живешь здесь уже месяц.

Я знаю, какие слова она хочет от меня услышать. Я боюсь их произнести.

– Сегодня ты закончила учиться, – говорит она, проводя ногтями по столешнице. – Завтра ты возьмешь своих первых клиентов. Моя милая маленькая девочка, которая так хорошо говорит по-английски. Ты заработаешь нам состояние этими своими грустными глазами.

Еще одна пауза. Я ненавижу ее за эти слова – мои глаза, такие непримечательные, такие полностью мои, теперь стали вульгарными и оскверненными из-за нее.

Но все, что я могу ответить, это: «Да, госпожа Ли». Она это знает. Даже наслаждается этим. Потому что мы обе знаем, что произойдет, если я не подчинюсь: есть такие лачуги, называемые стойлами, где девушки заперты, как скот, а единственные их клиенты – это моряки, подростки и пьяницы. Я знаю, что тела этих девушек истощены, надломлены и больны, и большинство из них увозят в больницу, которая вовсе не больница, а мрачная комната без окон в глухих пе-

реулках Чайнатауна. С запертой дверью. Внутри стоит лампа, чашка воды, чашка вареного риса. Смерть никогда не дожидается этих девушек слишком долго.

– Такая девушка, как ты, и дня не продержится в стойле, – говорит госпожа Ли, словно слышит мои мысли. – Здесь я кормлю тебя. Я даю тебе красивую чистую одежду. Я делаю тебя красивой. Я даю тебе кровать. Сколько китайских девушек могут сказать то же самое? Мы не какая-нибудь жалкая дыра с Бартлетт-Элли. Мы лучший бордель во всем городе. Здесь у тебя все самое лучшее. Оглянись. Лучше этого не станет.

– Вы правы, госпожа Ли, – говорю я ей. – Я буду усердно работать, чтобы заплатить за вашу доброту.

– Я знала, что ты будешь хорошей девочкой, – говорит она, протягивая руку, чтобы погладить меня. Ее глаза вспыхивают от удовольствия. Я чувствую ее раскрытую ладонь на черепе, словно осьминога, стекающего по моей голове и сжимающегося, чтобы задушить меня.

– Завтра, – выдыхает она, – мы тебя откупорим.

Она позволяет мне уйти. Я встаю и чувствую, что мои зеленые атласные штаны намокли. Она наблюдает, как я иду к двери, как изо всех сил пытаюсь ее распахнуть.

Прежде чем я выхожу, она обращается ко мне:

– Еще кое-что. С сегодняшнего вечера у тебя будет спальня Нефрит.

– Но где же будет спать сама Нефрит? – спрашиваю я. Бор-

дель разделен на три этажа, большинство из нас живет на втором этаже, где у нас общая комната для сна и еще две для развлечения клиентов. Третий этаж с отдельными комнатами зарезервирован для лучших девушек, таких как Ласточка, Ирис и Нефрит, до того, как ее живот начал расти. Только девушки, которые приводят самых дорогих клиентов, имеют собственные комнаты. Я еще ни одного не привела.

Госпожа Ли не отвечает. Охранники понимают, что это знак того, что она со мной закончила, и выталкивают меня за дверь. Я возвращаюсь наверх в нашу спальню и собираю свои немногочисленные вещи: рабочую одежду, косметику, ленты и шпильки для волос. Комната Нефрит находится в конце коридора на третьем этаже, она одна из самых больших. Дойдя до нее, я стучу в дверь, ожидая, что она будет там.

– Госпожа Ли тебе не сказала? – говорит Ирис, ее круглое лицо выглядывает из соседней комнаты. – Они забрали Нефрит ночью.

– О, – говорю я. – Нет, не сказала.

– Она все равно не может работать здесь, пока у нее внутри растет эта штука, – говорит Ирис. – Какой мужчина захочет потасканную шлюху?

Она ухмыляется и исчезает в своей комнате. Я делаю то же самое. Но это не моя комната. Это комната Нефрит. Нефрит, которую я видела всего несколько часов назад, сейчас движется к стойлам, где будет брать с клиентов по двадцать

пять центов, по пятьдесят, если повезет. Интересно, что будет с ребенком. Женщины в стойлах не задерживаются дольше двух лет, рассказывал мне кто-то, когда я впервые попала в казарму для рабов – барракун. Либо ты умираешь от болезни, либо ты умираешь из-за мужчины. В ответ я тогда спросила: «В чем разница?»

Я зажигаю лампу. Комната Нефрит опрятна, от стены до стены выкрашена в темно-алый цвет. Зарешеченное окно смотрит на серую улицу внизу. Комната по-прежнему пахнет ею, тонкий аромат цитрусовых наполняет воздух. Она пробыла здесь так долго, дольше любой из нас.

Ей не могло быть больше двадцати, двадцати одного года. Говорила ли она что-то про семью в Китае? Не могу вспомнить. Я начинаю забывать, какая информация принадлежит какой девушке. Мы анонимный клан тел и историй, и, возможно, мы все направляемся в одно и то же место. Имеет ли это значение? Это всего лишь вопрос времени, когда каждую из нас схватят посреди ночи и заменят на другую, более молодую и красивую девушку.

Целый месяц мне удавалось оставаться в безопасности, нетронутой. Когда я впервые приехала, я пообещала себе стать как можно меньше. Если на меня смотрел мужчина, я превращала свое лицо во что-то уродливое. Было не так сложно показать то, что я чувствовала внутри. Но я была глупа, думая, что у меня есть выбор. Меня купили не просто так, и теперь я должна выполнить обещанное.

В этот момент я думаю о Бай Хэ, девушке с фарфоровой кожей из историй моей деревни. Когда-то я считала, что ее кожа была ее бременем. Но теперь, сидя здесь и осознавая, что завтра к этому времени у меня больше не будет девственности, я осознаю истину: кожа Бай Хэ не была бременем. Быть девушкой – вот ее бремя. И раз такое бремя существует, то ни одна из нас не освобождена от него, даже я.

2

Это история о корзине с углем, которая плыла по океану.

Путь в Сан-Франциско занял три недели, по крайней мере, мне так сказали. Из комнаты в Чжифу, меня, плотно упакованную в корзину с углем, поместили в кузов повозки, и когда мы наконец остановились, я услышала нарастающий шум океана.

Повсюду голоса, мало чем отличающиеся от шума на рыбном рынке. Они были торговцами, но на этот раз большинство из этих голосов были иностранными.

– Поставь вон туда, – сказал кто-то рядом со мной. – Эти две на тот корабль. Как вас зовут?

Теперь голос Джаспера:

– Груз в Сан-Франциско. Собственность наставника Эна и его имущество для передачи *туну* «Радостный обряд».

– Да, сэр, – сказал другой голос, внезапно испугавшись. – Мы хорошо осведомлены о вашей особой посылке.

Меня подняли, уголь посыпался на шею. Они снова уносили меня, но что-то в шуме океана, поспешных голосах и языках, которые пришли с ними, подсказывало мне, что с этого следующего этапа пути будет трудно вернуться.

Если бы я знала все, что знаю теперь, я бы заплакала. Всё, что я могла видеть, – стенка корзины. Единственное,

что Джаспер позволил мне видеть. Кажется, последнее, что я услышала, был чей-то голос – возможно, его голос, – поющий на прощание.

Позже, когда крышка соскользнула, я представила, как выпрыгиваю наружу. Но когда я попыталась вытянуть себя вверх, уголь прижал мои бедра ко дну корзины. Я подумала, что уже близка к тому, чтобы самой превратиться в кусок угля. Один из людей Джаспера смотрел на меня сверху вниз.

– Даже не вздумай звать на помощь, – сказал он, опуская руку, чтобы развязать веревку вокруг моего рта. – Если закричишь – умрешь.

Я кивнула. Что угодно, лишь бы вытащили тряпку изо рта.

– Ешь, – сказал он. В другой руке у него был *маньтоу* размером со скомканный носок с серой и дряблой корочкой. Я уставилась на булочку, а затем набросилась на нее. Когда я закончила – это не заняло много времени, – мужчина снова потянулся вниз, на этот раз с флягой в руке. Я снова дернулась, но он оттолкнул мою голову назад.

– Я сам, – сказал он.

Я кивнула и еще больше запрокинула голову, отчаянно нуждаясь в чем-то, что могло бы охладить мои внутренности. Он прикоснулся к моей губе, мой рот был полуоткрыт. Мне хотелось, чтобы в этот момент вся вода мира вошла в мое тело. Но она закончилась прежде, чем мне удалось смыть с губ прикосновение этого человека. Мужчина снова поднял

фляжку и закрутил крышку. Затем он засунул тряпку обратно мне в рот и закрепил ее веревкой.

– Я буду возвращаться каждые два дня, – сказал он. – Может, три. Веди себя тихо.

А потом он закрыл крышку.

Что можно рассказать о том, каково это – находиться в таком тесном пространстве в темноте? Мое тело было скрючено, колени упирались в подбородок, спина изогнулась, как обезьяний хвост. Через некоторое время боль в согнутых конечностях стала настолько невыносимой, что я задумалась, смогу ли вытолкнуть себя из корзины со всей силой, которая накопилась в моих ногах. Но это была всего лишь мечта. После первого дня боль стала тише, а затем притупилась до шепота. Когда я спала, а спала я все время, то клала голову на колени, и волны океана качали меня в сторону далекого берега – это был не совсем сон, а лихорадочное состояние между сном и явью.

У меня были видения. Воспоминания приходили ко мне легко, но я больше не могла отличить, что произошло на самом деле, а что нет. Все плыло, как далекая песня памяти и желаний.

Я видела своих родителей перед тем, как их забрали: улыбку отца и его седеющую бородку. Я видела, как руки моей матери взлетали, словно птицы, когда она работала за ткацким станком. И я видела бабушку, занятую садом, с загорелым от солнца лицом. Я задумалась, шел ли дождь с тех

пор, как я покинула Чжифу. Я решила, что если я плыву в океане, то я плыву по этому дождю. И поэтому я поговорила с бабушкой, рассказав ей, как сильно я скучаю по ней, и обо всем, что произошло со мной с тех пор, как я видела ее в последний раз, но не о самом ужасном, так как не хотела, чтобы она волновалась. Потекли горячие и быстрые слезы, и я ловила их ртом, представляя, что это соленая свинина или вяленая рыба.

Я видела наставника Вана и школу каллиграфии, даже чувствовала едкий запах туши, свеженанесенной на длинные листы бумаги. Окна классной комнаты были открыты, а во дворе сушились новые свитки. Я пыталась прочитать все иероглифы, но они показались не более чем пауками на снегу.

Кого я не видела, так это Линь Дайюй. Я знала почему. В своей истории Линь Дайюй никогда не покидала Китай – вместо этого она умирает там. По мере того, как корабль уносил меня все дальше и дальше от дома, я задавалась вопросом, не разлучились ли мы с ней наконец. Маленькая Дайюй была бы в восторге и торжествовала – мы наконец-то избавились друг от друга, наши истории разделились. Но теперь, когда Линь Дайюй больше не было, повзрослевшая Дайюй испугалась.

Разве это не то, чего я всегда хотела? Вот что значило остаться одной впервые в жизни.

На третий день крышка корзины снова соскользнула, и как было обещано, опять появился тот человек с *маньтоу* и флягой воды.

– Хочешь встать? – спросил он, когда я закончила. Я кивнула. Он полез в корзину и схватил меня за руку, потянул. Я почувствовала, как меня поднимают, острая боль пронзила коленные суставы, чуть не согнув меня пополам.

Мои ноги так долго не вытягивались, а теперь их выпрямляли против их воли, каждый шаг истязал кости, неостребованные мышцы и бездействующие сухожилия. Я прикусила губу, чтобы не закричать, позволив говорить слезам. Пока снова не смогла стоять. Пока не смогла видеть.

Мужчина отпустил меня. Я схватилась за край корзины, перенеся весь свой вес на руки. По стонущим стенам и темноте я поняла, что мы находимся на нижнем уровне, судя по всему, в трюме. Своим ограниченным зрением я смогла разглядеть верхушки ящиков, контейнеров и других корзин, подобных моей. Некоторые были сложены друг на друга, а какие-то стояли в одиночестве. Какие из них были полны настоящих припасов, настоящей еды, настоящих специй, а сколько прятали других девушек, как я? Они все были девушками Джаспера? Они принадлежали другим плохим людям?

– Достаточно, – сказал мужчина. – Давай вниз и перестань осматриваться.

– Пожалуйста, приходите завтра снова, – взмолилась я,

прежде чем он заткнул мне рот тряпкой. Я не могла представить еще три дня без еды, воды или возможности постоять на ногах. Мои штаны испачкались и провоняли из-за того, что я несколько раз справила нужду, когда терпеть стало невозможно. Он ничего не сказал. Я опять скорчилась в корзине, чувствуя, как потянуло гнилостной вонью от того небольшого количества экскрементов, что из меня вышли.

– Сиди тихо, – сказал мужчина. Он захлопнул крышку. Так все и продолжалось. Мужчина приходил в основном ночью, когда на корабле было тихо, кормил меня, давал постоять несколько минут за-раз. Однажды он даже вытащил меня из корзины и велел прыгать на месте. Я так и сделала, чувствуя, что мои ноги словно чужие: мышцы бедер тряслись на костях неловко и болезненно. Из меня подолгу ничего не выходило, тело стало немощным на одних *маньтоу* и воде. Нечего переваривать, нечего выделять. Мешочек на шее проделал маленькое углубление в груди, его мятная прохлада была единственным, что отделяло меня от удушья.

Забвение. Сперва лихорадочное, как будто мой разум отрывался от самого себя. В ушах был жар, в пространстве за глазами – буря. Все вокруг казалось горячим на ощупь. Это и есть умирание – помню, подумала я.

Потом блаженство. Я поднялась сама над собой, воспарила надо всем. Я могла видеть океан, могла видеть корабль, могла даже видеть себя, скрюченную, измученную и худую, обнявшую колени. Но это было хорошо. Это было даже кра-

сиво. Человек внутри этой корзины был кем-то другим. Я была под защитой, я была дикой, я была внутри всего. Я была про голод и боль. Я знала только искристое сияние.

С большей ясностью, чем в любой другой момент в своей жизни, я тогда вспомнила, как за день до всего, что произошло, отец принес домой вишни, потому что знал, как мама их любит. Я не любила вишню – эти ягоды были либо слишком сладкими, либо слишком кислыми, а из-за косточек плоды становились еще более неудобными для еды. Мне не нравилось, как их красная плоть окрашивала пальцы и уголки рта.

Но мама их любила. Она сделала бы что угодно, лишь бы их поест. Когда в тот день отец принес домой вишни, я еще не видела ее такой радостной. Она разве что не взлетела из-за ткацкого станка, захлопала в ладоши и запрыгала. Улыбка на ее лице была широкой, как луна.

И мой отец высыпал вишни в миску, а мы собрались вокруг, каждый вытащил по вишенке с еще не оторванным черешком. Я смотрела, как мама держит свою пухлую и блестящую ягодку в ладонях, будто в молитве. Затем она положила ее в рот, все еще сжимая в пальцах черенок, и через мгновение только черенок от нее и остался.

– Ты проглотила косточку, – сказала я в недоумении. Мне всегда снились кошмары о том, как что-то застревает у меня в горле.

Она улыбнулась в ответ на мой ужас.

– Иногда, – сказала она, – мне приходит в голову, что если я буду проглатывать вещи, которые люблю, они вырастут у меня внутри.

– Не будь такой, как она, – предостерег меня отец, но он тоже улыбался. Я никогда не любила вишню, но мне нравилось это воспоминание о маме, папе и бабушке, которая любила вишни больше, чем белые персики, но меньше, чем яблоки. И обо мне. Мы были вместе, мы собрались, чтобы принять участие в чем-то, что делало исключительно счастливым лишь одного из нас, но тем самым оно сделало счастливыми нас всех. «Когда я смотрю, как ты ешь, мой желудок наполняется», – говорила мне мама. Я поняла, что она имела в виду. Когда я наконец вырвалась из этого воспоминания, то почувствовала себя сытой им.

В другие разы я думала о Линь Дайюй, желая, чтобы она пришла. Она могла бы забрать меня отсюда, и мы парили бы над миром, наши тела были бы тонкими, как бумага, легкими, как последний день зимы. Я хотела бы залезть ей в рот, спать в ее теле долгие годы. Чтобы она вырастила меня внутри себя. В разгар своего забытья, думаю, я хотела бы полюбить ее.

Но Линь Дайюй не пришла.

Иероглиф «радость», #, – шелковые нити над деревом. Как музыка в лесу, мелодия, скользящая по верхушкам деревьев. «Этот иероглиф выглядит так, как ощущается радость, – говорил мне наставник Ван. – Как будто ты находи-

дишься надо всем вокруг, как будто ты не можешь не воспламениться».

Я улыбалась, думая об этом. И когда мужчина в последний раз снял крышку с корзины, он, должно быть, увидел меня такой – глаза закрыты, слезы текут по лицу, тело покрыто углем, а там, где должен быть мой рот – серп улыбки.

Должно быть, он тогда испугался меня.

Однажды корабль остановился. К тому моменту я уже не понимала, есть ли у меня тело. Но понимала, как важно сохранить то, что у меня еще осталось. Я снова вошла в себя и стала ждать. Стук, потом смех. Шум людей ворвался в трюм, их громкость впервые за несколько недель заставила меня снова испугаться. Я услышала звуки тяжелых ящиков и коробок, которые сдвигали и уносили. Я слышала, как один мужчина сказал другому не беспокоиться о чем-то, он сам это понесет.

Он сказал:

– Эта – особенная.

– Здесь воняет, – сказал другой мужчина.

Меня снова подняли и понесли, но на этот раз не только во сне. И должно быть, именно тогда я рухнула обратно в свое тело. Я не летала. Я сидела внутри корзины, полной угля и моей собственной мочи, в желудке было пусто, в голове было пусто, в сердце было пусто. Это не то славное начало, которое я ощущала, стоя у океана, это была пустота без надежды

на наполнение. Меня вынесли с корабля, и когда солнце попало в корзину, все как будто вспыхнуло, как от огня.

На мгновение мне показалось, что я снова в Чжифу. Меня обманули крики чаек – они то нарастали, то стихали. И пенный шелест океана, и стон покачивающегося причала.

Воздух был прохладным.

– Сюда, сюда, – кричал кто-то по-английски.

Я почувствовала, что меня несут к этому новому голосу.

– Это та самая? – спросил он. Тот, кто нес меня, утвердительно хмыкнул.

– Хорошо, – сказал голос. – Поставьте ее там.

Обмен словами. Звук ржания лошади. Я почувствовала, как меня опускают, а затем наконец все прекратилось. После нескольких недель плавания по океану я остановилась.

– Джаспер надеется, что уважаемые члены *туна* «Радостный обряд» будут довольны этой посылкой, – сказал голос. А потом мне опять показалось, что я слышу, как кто-то поет на прощание.

Щелкнул хлыст. Мы снова двигались, но запах океана становился все слабее с каждой секундой. Внутри корзины вокруг меня оседал уголь.

Я была в Америке.

Что еще рассказать? Рассказать о том, как меня отвезли в загон, который называли барракуном, на аллее Сент-Луис в Чайнатауне? Там пахло мочой и фекалиями, а еще прокис-

шими дынными корками. Рассказать о том, как крышку с корзины сбросили, как солнце попало мне в глаза, как меня вытянули за руки? Ноги не слушались, поэтому меня привязали к столбу, веревка вокруг талии впилась в ямку между ребрами и бедренными костями.

Рассказать о том, как с меня сняли одежду, мою грязную, провонявшую одежду и срезали мешочек с шеи? Рассказать ли о том, как меня облили холодной водой и как часть меня радовалась возможности вообще хоть что-то чувствовать? Или рассказать о самом барракуне, и как меня бросили туда к таким же девушкам, как я, голую, дрожащую, мокрую?

Вместо этого я расскажу о женщине – я увидела, как она входит в здание. Мы все были на полу, нас согнали в центр. Помещение было сырое и без мебели. Примерно пятьдесят девушек. Наши стоны отражались от голых стен, мы все были раздеты догола и готовились к смерти. Мы находились в центре, а еще там были они: мужчины, которые окружали нас, которые осматривали нас. Я подумала о рыбном рынке в Чжифу и о лежавшей кучками рыбе, о том, как я и многие другие кружили около каждого продавца, жадно глядя на рыбу, уже предвкушая, какой она будет на вкус, сколько времени потребуется, чтобы оценить, хорошее или плохое у нее мясо, лопнут ли ее глаза у нас во рту, насколько маслянистым будет мозг, насколько мягкими окажутся кости – достаточно ли мягкими, чтобы сломаться между зубами и остаться мокрой кучкой на столе? Вот что мне это напомни-

ло. Теперь этой рыбой были мы.

Я заметила ее, потому что она была единственной женщиной в группе мужчин, вошедших в здание. У нее было красивое лицо, большой и властный рот, прищуренные глаза, подведенные черным. Я заметила женщину из-за ее наряда: белого платья с вышивкой – серебряным фениксом, – и подумала, что она, должно быть, по-настоящему бессердечная женщина, раз решила одеться в цвет смерти. И еще я заметила ее, потому что мужчины расступались перед ней: от самого ее существования, от того, как она проходила сквозь них, словно ветер, откидывающий развешанные простыни.

Некоторые мужчины указывали то на одну, то на другую девушку, и тогда один из наших погонщиков бросался вперед, таща девушку к тому, кто ее заметил. Ее передавали новому владельцу, съездившуюся и плачущую, а взамен погонщик получал пачку бумаги, которая, как я позже выяснила, была деньгами. Нас продавали поодиночке, некоторых группами, и все же я могла думать только о том, что будет с теми, кто останется в конце дня. Куда нам деваться? Женщина ни разу не указала ни на одну девушку. Она стояла впереди, следя взглядом за телом каждой из нас. Ее лицо было пустым, руки скрещены. Было что-то особенное в этой женщине, не только в том, как она стояла, словно императрица, но и в том, как она, казалось, не замечала никого из окружающих мужчин, что продолжали следить за ней уголком глаза. Они ненавидели ее, но только потому, что боялись, поня-

ла я. А потом она подняла руку и кивнула.

– Ты, – сказал один из погонщиков, подходя к девушке рядом со мной. Она отпрянула от него, со всхлипом. Он схватил ее за запястье – она упала на пол – и потащил к женщине, та щелкнула пальцами. Позади нее появились двое мужчин. Они подняли девушку, которая теперь уже подвывала, и снова скрылись в толпе.

Я почувствовала что-то горячее. Подняла взгляд. Глаза женщины смотрели на меня, не мигая. В ней была жестокость, решила я. Погонщик, который не отходил от нее, встал на цыпочки, чтобы прошептать ей что-то в ухо. Она не сводила с меня глаз. А потом подняла руку и кивнула. Почти сразу передо мной оказался погонщик, он ухватился за мое запястье.

– Ты, – сказал он, уже подтягивая меня к женщине. Я почувствовала, как подчиняюсь. Если попытаюсь сбежать, ноги растворятся подо мной.

Я встала перед женщиной так прямо, как только могла. Я не буду плакать.

Ее глаза оценивали меня, начав с ног, затем двинулись вверх по ногам, по туловищу, по груди и, наконец, по лицу.

– Ты та, которая знает английский? – спросила она. Ее голос был глубоким и гулким, в нем скрывалась обезоруживающая сила.

– Ну, – сказал погонщик, дергая меня за запястье. – Отвечай ей!

– Да.

– Очень хорошо говорит, – гордо сказал погонщик. – Лучше, чем любая девушка здесь. Училась у лучших в Китае. Она обязательно понравится вашим белым гостям.

– Может быть, – сказала женщина, – но она очень худая. Моим девочкам нужно мясо на костях. Мне что, придется опустошить кладовые ради нее, пока она не откормится? Не похоже на честную сделку за цену, которую вы просите.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.